

**Жизнь
ЗМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ**

А.К.ДЖИВЕЛЕГОВ



ДАНТЕ

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБ'ЕДИНЕНИЕ

Annotation

В настоящем издании представлен биографический роман об итальянском поэте, создателе итальянского литературного языка Данте Алигьери (Dante Alighieri) (1265-1321).

- [Алексей Карпович Дживелегов](#)
- [От автора](#)
- [Глава I](#)
- [Глава II](#)
- [Глава III](#)
- [Глава IV](#)
- [Глава V](#)
- [Глава VI](#)
- [Глава VII](#)
- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)

◦ [21](#)



Алексей Карпович Дживелегов Данте Алигиери



СЕРИЯ БИОГРАФИЙ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ВЫПУСК XVI

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ А. К. ДЖИВЕЛЕГОВ ДАНТЕ АЛИГИЕРИ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

М. Горького, Миз. Кольцова, А. Н. Тихонова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: М. Горький, акад. С. И. Вавилов, проф. Б. М. Гессен, проф. И. Э. Грабарь, М. Е. Кольцов, Н. В. Крыленко, А. В. Луначарский, проф. А. П. Пивкевич, Н. А. Семашко, В. М. Свердлов, А. Н. Тихонов, проф. А. Н. Фрумкин, проф. О. Ю. Шмидт.

В КНИГЕ 11 ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
МОСКВА 1933

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
МОСКВА 1933



Бюст Данте. Неаполитанский музей.

От автора

Биография Данте никогда не может быть задачей чисто повествовательной. В ней столько спорного и темного, что она всегда — задача наполовину исследовательская. А для советского писателя особенно. Потому что многое, что европейская литературная историография считает бесспорным, для нас таит вопросы, требующие раскрытия. И наоборот, многое, что там вызывает наиболее острые споры, для нас не представляется важным.

Поэтому необходимость быть догматичным — она вытекала и из размеров книги, и из характера издания, — подчас очень тяготила автора. Приходится ведь решать на основании обстоятельной аргументации, а ее невозможно дать. Мотивы остаются неизвестны читателю. Даже такие вещи, как признание подлинным или поддельным того или иного произведения Данте, остаются немотивированными. Почему одно из приписываемых Данте писем фигурирует в книге, а другое нет? Осведомленный читатель, знакомый с составом переписки или свода канцон, конечно, имеет право заинтересоваться основаниями отбора. Но его любознательность останется втуне. Вся лаборатория от читателя скрыта.

Из текстовых иллюстраций, кроме цитат из произведений самого Данте, давались только выдержки из современников и ближайших по времени биографов и комментаторов. На все остальное не хватило места. Зато автор не скупился на такие факты, которые раскрывают социальную обстановку, в которой до Данте жила Флоренция, в которой Данте жил во Флоренции, в которой он блуждал после изгнания. Ибо только в этих фактах можно получить объяснение личности поэта и его произведений и найти четкое истолкование того внутреннего кризиса, который сломал надвое его идеологию.

Тяжкие трудности представляла необходимость цитировать стихи Данте, особенно терцины «Комедия», в русских переводах. Не хотелось давать переводов в прозе. А существующие переводы «Комедии» таковы, что невозможно выбрать один какой-нибудь и его держаться. Их общая особенность та, что они очень отдаленно и неточно передают смысл. Поэтому и приходилось прибегать к такому дикому приему, как — особенно в больших цитатах — сборный перевод: одна терцина из Голованова, две из Чюминой, две из Мина. И приходилось еще все их

слегка ретушировать, чтобы приблизить к подлиннику. С «Новой жизнью» было легче, потому что в распоряжении автора находился хороший перевод А. М. Эфроса, который вскоре появится в издательстве «Академия». Совсем плохо было с канцонами, не вошедшими в «Новую жизнь»: их переводов вообще не существует, хотя между ними — едва ли не лучшая из всех дантовских канцон: «Три женщины пришли раз к сердцу моему». И нужно ли говорить, как важны канцоны для понимания душевного кризиса Данте?

Чтобы не испещрять подстрочными цитатами страницы книги и не тратить места на примечания, я при каждой стихотворной цитате ставил начальную букву фамилии переводчика. Они означают: Б. — Бальмонт, Г. — Голованов, М. — Мин, Ч. — Чюмина, Э. — Эфрос.

А. Дж.

Глава I

Флоренция до Данте

1

Поздней осенью 1147 года, в ясный день, какие бывают в Тоскане в это время очень часто, на маленькой городской площади Флоренции царило большое оживление. Город отправлял свое ополчение в Палестину — биться с неверными. Готовился второй крестовый поход: Иерусалиму, полвека находившемуся в руках христиан, грозила опасность, и нужно было спешно слать ему помощь. Крест приняли два короля: Людовик VII французский и Конрад III Гоэнштауфен немецкий. С ними — множество баронов и рыцарей из всех стран Европы. Флоренция не хотела отставать от других. В ее летописях было записано, что при решительном штурме Иерусалима первым взошел на стены со знаменем города в руках флорентийский рыцарь Паццо деи Пацци. Новое поколение воинов горело желанием поддержать славу отцов.

В числе этих воинов находился Каччагвида, предок Данте Алигиери. Он не вернулся во Флоренцию: погиб в жарких пустынях Востока смертью храбрых. Поэт обессмертил его, набросав яркий и лучезарный образ его в своей «Комедии». Ему он вложил в уста картину нравов, царивших во Флоренции в середине XII века. Чтобы ясно представлять себе, чем была Флоренция за полтора столетия до Данте и как она потом росла, нужно твердо помнить рассказ Каччагвиды.

Времена были героические. Шла терпеливая самоотверженная борьба за будущее. Городу, который стоял на берегу Арно, в своей котловине приходилось отстаивать существование и свободу. Он кругом был окружен холмами, и на каждом стояло по крепкому замку, мимо которого нельзя было ни проехать безопасно, ни провезти товары без потерь. Заложены были все пути: к Риму, т. е. к главному потребительскому центру Италии, к Пизе, т. е. к морю, к Милану, т. е. к Европе, к Венеции, т. е. к главному посредническому рынку между Востоком и Западом. Город задыхался. Его необыкновенно удобное положение на перекрестке всех главных торговых путей не могло быть использовано. Нужно было биться, чтобы освободить эти пути. И бились. Бились изо дня в день, из месяца в месяц, упорно и

настойчиво. Одна за другою исчезали башни с окрестных холмов, разрушенные до основания, а владельцы их переселялись в город, сначала силком, потом привыкали и даже становились хорошими гражданами.

Хозяйство было в младенческом состоянии. Торговали немного, производили слабо. Жизнь была скупая, скромная, почти грубая («Рай», 15, Ч.).

В те дни Флоренция простую жизнь вела
Под сенью той стены, где в третьем и девятом
Часу сзывали весь народ колокола
К молитвам и труду.

На одной из стен стояла церковка, построенная тосканским маркизом Уго, и по ее звону привыкли устраивать исстари свою жизнь флорентийские граждане.

И целомудренна, чужда она была
Безумной роскоши и буйного веселья
На женщинах там не блистали ожерелья
И драгоценные венцы и пояса.
Я был свидетелем, как в гости шел с женой,
Не знавшую румян Беллинчионе Берти,
И пояс он носил с отделкой костяной.
А Нерли с Веккио и не слышали даже
О роскоши одежд, а дома жены их
Лишь о веретене заботились и пряже
И были счастливы в занятиях своих.
Не угрожало им вдовство на брачном ложе...

Картина маленького городка, не знавшего еще большой торговли, которая в условиях того времени требовала поездок, во время которых жены дома оставались «вдовами на брачном ложе». И хотя эти поездки продолжались долго, мужья были уверены, что ни любовь, ни верность не будут нарушены. А о том, каковы были нравы, можно судить по такому рассказу в хронике Джованни Виллани:

«Когда император Оттон IV прибыл во Флоренцию и увидел красивых женщин города, которые ради него собрались в церкви Санта Репарата, эта

девушка — Гуальдрада, дочь Беллинчоне Берти — понравилась ему больше всех. Тогда отец ее сказал императору, что он своей родительской властью разрешает ему ее поцеловать. Но девушка отвечала, что ни один живой человек не поцелует ее, если не будет ее мужем. За эти слова император очень ее хвалил, а граф Гвидо, полюбив ее за ее достоинства, взял ее в жены по совету императора, хотя была более низкого происхождения и не имела большого приданого».

Графы Гвидо были последними крупными баронами, с которыми пришлось биться флорентинцам, и брак молодого графа с Гуальдрадою, которую так же, как и ее отца, помянул, приобщив к бессмертию, в «Комедии» Данте, символизировал заключительные этапы борьбы с баронами.

Пока шла борьба, Флоренция была «трезва и скромна», не знала ни больших богатств, ни роскошной жизни, ни спутницы того и другого — распущенности. Она была совсем небольшим городом, с высокими стенами и ровом и с широко раскинувшимися пригородами, которые лет через двадцать начнут окружать второю стеной. Южный угол городского четырехугольника подходил к Арно там, где теперь галерея Уффици. Вдоль реки стена шла до нынешнего моста Trinita, а противоположная проходила по линии левой стены нынешнего собора. Длина четырехугольника между стенами была равна приблизительно расстоянию между собором и рекой. Городская площадь была гораздо меньше нынешней. Ее окружали дома-крепости дворян, поселенных в городе, а у самого Арно, на месте нынешней площади Синьории, стояло огромное укрепление семьи Уберти. Единственным мостом через Арно был существующий в перестроенном виде и сейчас Старый мост (Ponte vecchio).

Необходимость борьбы с баронами и отсутствие противоположных крупных интересов поддерживали в городе большое единство. Не было партий, не было корпораций, за чертою которых оставалось бы менее привилегированное большинство. Город считался еще вотчиною тосканских маркграфов, но зависимость его ни в чем, кроме определенной дани, не выражалась. Внутри своих стен и в ближайшей за ними округе он управлялся самостоятельно. Горожане занимались торговлей и ремеслами и собирались на вече, где выбирали своих старейшин. Сначала их называли просто *boni homines*, выборными, но уже по примеру других городов начинали величать и консулами. Они судили, раскладывали подати, водили на войну.

Все было просто, однообразно, мало расчленено, но все было здоровое

и крепкое: хозяйство, обычаи, управление. И жизнь была ключом, молодая и буйная. Флоренция была на заре своего существования и двигалась вперед гигантскими шагами.

Главная задача заключалась в том, чтобы довести до конца борьбу с баронами. Хозяйство не могло развиваться, пока хоть несколько замков засоряли торговые пути. Эта борьба была окончена в самом начале XIII века. В 1209 году последние бароны, покоренные, переселились в город. Было как раз время. Флорентийская торговля не могла больше ждать. Мировая экономическая конъюнктура, открывшаяся вместе с крестовыми походами, должна была быть использована и ею. Недаром Пацци деи Пацци дивил мир своим геройством, а Каччагвида сложил голову под кривым ятаганом сарацин. Во второй половине XII века определился и тот товар, на котором по-первоначально должно было воздвигнуться благосостояние Флоренции. Это — французское и фламандское сукно; грубый полуфабрикат, который привозился в город, здесь подвергался переработке, распространялся по Италии и шел за границу. Купцы, которые сосредоточили в своих руках операции по привозу, переработке и вывозу сукна, образовали корпорацию, которая по названию улицы, где помещались ее главные учреждения, стала называться, «купцами из Калималы», Mercatores de Calimala. Первый подлинный документ, в котором она упоминается, относится к 1182 году. А к концу XII века в этой корпорации было уже объединено все купечество.

К этому времени очень возросло количество рыцарей, переселенных в город после разрушения их замков. Они завели связи с другой феодальной группой, окрестными землевладельцами. А торговцы, которые не входили в Калималу, стали группироваться в большую ассоциацию среднего и мелкого купечества.

Торговля и промышленность росли, и темпы роста все ускорялись. Первым признаком этого была непрерывная дифференциация. В 1202 году из Калималы выделилась новая корпорация — менял, Cambio: признак, что кредитное дело желало стоять на собственных ногах. Вскоре за нею последовали еще две. Сначала у Ворот св. Марии обосновалась группа торговцев разных специальностей, называвшаяся по первому месту жительства Mercatores di Por Santa Maria^[1]. А за нею следом создали свою корпорацию и мелочные торговцы, Mercatores Communes, но у них не

хватило силы для длительного самостоятельного существования: они слились с другими организациями.

Параллельно разворачивается и усложняется городская конституция. Боевые задачи, обусловленные непрекращавшейся, несмотря ни на что, борьбой с дворянством, вызвали появление во Флоренции в самом начале XIII века (окончательно в 1207 году) подестата — формы, которая всюду в Италии в это время приходила на смену консульской организации и вводила также и Флоренцию в эпоху «второго устройства». Консульство перестало удовлетворять нуждам обороны и управления главным образом из-за своего многоголовия: консулов бывало до 12 человек. Подеста был выборным должностным лицом. Брали его непременно из нефлорентинцев, чтобы он оставался беспристрастным в игре местных интересов; предпочитали, особенно в первое время, опытного воина, чтобы он мог успешно командовать городским ополчением; срок ему назначали небольшой, чаще всего полугодовой, чтобы не заживался и не заводил в городе связей. По мере того как военные задачи отступали на задний план, — ибо дворяне как раз около этого времени были покорены окончательно, — подеста постепенно превращался из военачальника в судью и администратора.

Общий характер конституции флорентийской из-за смены консульской власти подестатом не изменился. Ее основой и силой была коалиция хозяйственных соединений. Только круг этой коалиции стал постепенно шириться. Торговля в течение всего XII века была единственным полем хозяйственной деятельности. Кредит едва-едва начинал играть роль; он завоевывал себе свободу в борьбе с жесткими постановлениями канонического права, запрещавшего «лихву». Ремесло находилось в младенческом состоянии. Первое упоминание о том, что существуют ремесленные цехи (*arti*), мы находим в 1193 году, да и то очень смутное: речь идет о семи цехах, каких — мы точно не знаем; знаем только, что шерстяной цех (*arte di Lana*) был в их числе. Политической роли в это время они не играли никакой.

Но жизнь делала свое дело. По мере того как приобретала крупное значение та или иная область активной хозяйственной деятельности, база действительной конституции раздвигалась и давала место корпорации, ее представлявшей. Борьба за расширение конституционной базы в интересах той или другой группы флорентийского общества будет идти в продолжение всего XIII века. В основе ее будет лежать рост флорентийской промышленности, именно промышленности, не ремесла. Растет она одна. Если растет ремесло, то соответствующий ремесленный цех переходит в

число купеческих. Ибо капитал, работающий в промышленности, — торговый капитал. Наиболее типичным фактом этого порядка был переход *arte di Lana* из ремесленных цехов в купеческий во второе или в третье десятилетие XIII века. Это — факт не исключительно флорентийский. В Тоскане он повторится в точности в Сиене и Пизе, повторится во многих ломбардских городах, будет воспроизведен во Фландрии и вообще станет типичным фактом эволюции европейской промышленности. Производство шерстяных материй как по условиям техники, так особенно по условиям рынка стало невозможно вести в рамках мелкого ремесленного производства. Уже одна необходимость сразу закупать большие партии шерсти за границею требовала большого капитала. Дело организуется частью как домашнее производство, частью как мануфактура. Во главе каждого предприятия становится купец-капиталист. Управляет делами всего цеха совет из купцов, хозяев предприятий, входящих в цех. В *Lana* именно такой порядок и установился, и естественно, что цех потребовал и добился перевода из ремесленных в купеческие. Именно среди купеческих было его настоящее место. Но он сохранил название ремесленного цеха, *arte*, которое потом примут и остальные купеческие и вообще «старшие» цехи. Состав «старших» цехов (так станут звать их с 80-х годов XIII века) пополнился в третье и четвертое десятилетие XII века. В него вступили: судьи и нотариусы (1229), врачи и аптекари, меховщики. Всех стало семь.

Капитал накапливался постепенно. Основание, хотя и незначительное, положила торговля XII и начала XIII века, а быстрый рост капитала начался со второго и третьего десятилетия XIII века. Флорентийские купцы стали давать ссуды под залог земель сначала монастырям, церквям и епископствам Тосканы, а потом и светским баронам. Земель и у тех, и у других было много. Церковные владения искони представляли собою внушительную площадь, почти нетронутую, а тосканские бароны, переселяясь в города, удержали за собою все свои земли. Флорентинцам было важно, чтобы срыт был замок, и в этот момент они мало заботились, останутся у барона поместья или нет. А в городском быту наличных денег рыцарям очень скоро стало не хватать и пришлось прибегнуть к ссуде. Результат был тот, что вследствие ростовщических условий ссуды, — денег ведь в обращении было мало и, кроме того, риск церковного проклятия за грех лихоимства являлся предлогом к дальнейшим надбавкам, — большая часть церковных земель и многие дворянские владения перешли в руки флорентийских купцов. Уже в первой половине XIII века эта эволюция в значительной мере завершилась.

В это время в городе уже бурно кипела политическая борьба. Дворяне,

поселившись во Флоренции, очень быстро осмотрелись и приспособились. Они были по большей части богаты, ибо поместья с крестьянами остались за ними. Они увидели, что в городе все кругом было объединено в корпорации, легко сталкивались между собою и начали создавать собственные корпорации. По старой привычке они строили свои дома с крепкими башнями, так что они имели вид маленьких замков. Поэтому свои объединения они назвали «башенными» Societa delle Torri. Боевой опыт рыцарей был очень полезен городу, и они никогда не отказывались от участия в военных предприятиях Флоренции. Но требовали за это доли во власти. А горожане доверяли им тем меньше, чем выше и грознее возносились башни, защищавшие их жилища. С другой стороны, и у дворян, которых жестоко щипали условия земельной ссуды, предлагаемые флорентийскими купцами, накоплялось все больше недовольства. Столкновение готово было разразиться. Для него в местных флорентийских условиях было сколько угодно причин. Нужен был только повод. Его дала распря гвельфов с гибеллинами.

«...И причиною было то, что один из молодых дворян в городе по имени Буондельмонте деи Буондельмонти обещал взять в жены дочь мессера Одериго Джантруфетти. А потом, когда он проходил однажды мимо дома Донати, знатная дама мадонна Альдруда, жена мессера Фортегуерры Донати, у которой были две дочери, очень красивые, увидела его с балкона своего дворца. Она подозвала его и, показав ему одну из упомянутых дочерей, сказала: «Кого ты берешь в жены? Я готовила тебе вот эту». Когда он пристально посмотрел на девушку, она ему очень понравилась. Но он ответил: «Я не могу теперь сделать по-другому». На это мадонна Альдруда сказала: «Можешь; пеню за тебя заплачу я». Тогда Буондельмонте сказал: «Я согласен». И обручился с нею, отказавшись от той, с которой был помолвлен раньше и которой клялся. Поэтому, когда мессер Одериго сокрушался среди родных и друзей о случившемся, решено было отомстить, напасть на него и подвергнуть оскорблению. Услышав об этом, Уберти, очень знатная и могущественная семья, родственная Одериго, стали говорить, что лучше его убить: ненависть будет одинаковая, ранят его или убьют; сделаем — там будет видно. И положено было убить его в день свадьбы. Так и поступили. Эта смерть внесла разделение среди граждан: с обеих сторон теснее сплотились родные и друзья, и указанное разделение

поэтому так и не кончилось. Оно породило много смут, смертоубийств и усобиц в городе».

Так записал коротко под 1215 годом хронист Дино Компаньи. У других летописцев рассказ развернут в подробное повествование. Ближайшее потомство было убеждено, что это разделение Флоренции на гвельфов и гибеллинов пошло именно от кровавой свадьбы Буондельмонте и именно в 1215 году. Это, конечно, не так. Распря между Буондельмонти и Уберти первоначально не выходила из дворянских кругов^[2] и представляла собою серию фактов феодальной родовой кровной мести. Скьятта дельи Уберти, первый закричавший, что нужно убивать, и Моска Ламберти, «злым словом» (Дж. Виллани) — «сделаем — там будет видно» — утвердивший всех в кровавом решении, — оба они участвовали потом в убийстве бедного Буондельмонте, — чтобы смягчить ответственность, старались придать своему преступлению вид политического акта. Распря гвельфов и гибеллинов кипела за Альпами и в Италии давно, и украсить дело личной мести звонким политическим лозунгом было очень выгодно. Ведь всюду в Италии усобицы всякого рода немедленно подхватили готовый боевой клич. Партийные наименования, широкие и расплывчатые, часто стали покрывать какое-нибудь местное, вполне реальное соперничество. Раздоры между городами вспыхивали по всякому поводу: крупным нужно было поглотить мелких, равносильные бились из-за торговых интересов, из-за обладания удобной гаванью, горным проходом, речной переправой. Всем нужно было раздвигать границы своей территории. Там, где внутри городов экономический рост подготовил почву для обострения противоречий, партии, вооруженные до зубов, становились одна против другой и оглашали воздух громкими вызовами. И надо всем этим кровавым, но чисто домашним соперничеством висели два непримиримых лозунга, ко всему легко пристающие: гвельфы и гибеллины.

Распря между Буондельмонти и Уберти во Флоренции долго была лишена всякого политического зерна. До тех пор, пока не были вовлечены в борьбу широкие пополанские массы, столкновения, пенившиеся неистовой обоюдной ненавистью, обогравшие кровью каменные плиты флорентийских улиц, не выходили из рамок местной дворянской усобицы. Что же вовлекало в нее горожан?

Обычно это объясняется очень просто, даже слишком просто. Большинство дворян были старыми вассалами императора и поэтому примкнули к гибеллинам, а пополаны, против которых дворяне уже начинали свои происки, самым естественным образом сделались гвельфами. В действительности эволюция была значительно сложнее. Ведь

много гвельфов было и среди дворян, а потом, что особенно важно, переходы из гибеллинов в гвельфы и среди дворян, и среди пополанов были очень часты даже тогда, когда никакая опасность не грозила оставшимся на слабой стороне. Причина была другая. Капитал в поисках прибылей пытался работать с императором Фридрихом Гоэнштауфеном, и наиболее богатые «гибеллинские» семьи складывались, чтобы устраивать ему займы. И Фридриху займы были нужны, потому что борьба с папами, в которой проходили последние годы его царствования, постоянно требовала денег. Но более осторожные семьи не доверяли кредитоспособности императора-еретика. То, что можно назвать тогдашней флорентийской «биржей», т. е. собрания купцов где-нибудь на Старом рынке или на площади перед собором, расценивало шансы императора очень низко. Наоборот, шансы курии, находившейся после Иннокентия III на вершине своего могущества, представлялись ей очень большими. Кроме того, император не мог предоставить никакого обеспечения займам, а курия предлагала очень солидные: сбор папской дани по всей Европе с удержанием, смотря по условиям, процентов или частей капитального долга с собранных сумм. Вот почему, пока был жив Фридрих, среди флорентийского купечества шли такие колебания: то побеждала гибеллинская волна, то гвельфская. А когда Фридрих умер (1250) и в руках его преемников трон зашатался еще больше, победа все решительнее стала склоняться на сторону гвельфов. Кредитоспособность курии одержала верх.

Пополанское купечество было вовлечено в распрю гвельфов и гибеллинов тогда, когда для займов императору и папе понадобилось сколачивать капиталы, т. е., выражаясь современным языком, выпускать облигации. Операцией этой занялись крупные банки, — а их было во Флоренции уже не мало, — которые втягивали в операции свободные купеческие капиталы. И всякая перемена счастья в борьбе Фридриха или Манфреда с папою отзывалась потрясением в городе.

Впервые лозунги «гвельфы» и «гибеллины» прозвучали по-серьезному во Флоренции в 1240 году. Семья Уберти по-прежнему стояла во главе гибеллинов и старалась перетянуть на сторону императора симпатии и капиталы флорентинцев. Восемь лет длилась борьба, в которой Фридрих, кровно заинтересованный, энергично помогал гибеллинам. В 1248 году гвельфы вынуждены были признать себя побежденными и отправились в изгнание. Город остался во власти гибеллинов.

Фарината дельи Уберти, вождь гибеллинов, который казнится в дантовом аду за ересь «эпикурейцев», говорит гвельфскому отпрыску

Данте («Ад», 10, Г.):

Твои врагами были постоянно
Мне и отцам, и прочим всем из нас
И были дважды мной отправлены в изгнание.

Изгнание 1248 года было первым. Оно продолжалось недолго. Император Фридрих умер в декабре 1250 года, и гвельфы, собрав силы, немедленно пошли на Флоренцию, куда их призывало большинство пополанов. Наступил мир, напряженный и тревожный, полный хитрых взаимных обходов и подкопов. Опираясь на широкие пополанские массы, гвельфы провели первую серьезную конституционную реформу (*primo popolo*), которая была вызвана необходимостью укрепить коалицию хозяйственных соединений; острие ее было направлено против дворянства. Дворянам запрещено иметь башню выше, чем в 50 локтей высоты. «А были и по 120», говорит Дж. Виллани. Цехи конституируются, но государственная организация строится независимо от цехов (уступка гибеллинам). Городское население членится по кварталам (6 кварталов, 12 компаний с чисто военным устройством: предосторожность против гибеллинского бунта) с «вождем народа» (*capitano del popolo*) и советом из 12 старейшин (*anziani*) во главе. Сделан таким образом первый шаг к установлению равноправия между купцами и ремесленниками.

Это было необходимо, потому что против гибеллинов, все время имевших поддержку со стороны наследников Фридриха, могла помочь только коалиция всех пополанских сил. Но гибеллины, стиснутые новым строем, не дремали. Их эмиссары были повсюду. И не напрасно. Сын Фридриха, Манфред, унаследовавший светлые отцовские волосы и бешеную ненависть пап, помогал гибеллинам, чтобы не быть отрезанным от богатых финансовых ресурсов Флоренции так ему необходимых. Он, правда, не сумел предупредить их изгнание в 1256 году, но когда они с Фаринатою во главе соединялись с гибеллинской Сиеной, прислал им в помощь отряд в 800 испытанных немецких конников под начальством графа Джордано. Это было в 1260 году. Флорентийские гвельфы, снарядившись как могли, с боевой колесницею, с боевым колоколом, *мартинеллою*, двинулись против них и встретились под Монтаперти, на берегу Арбии. И такой возгорелся бой, что воды этой маленькой речки «окрасились в красный цвет» («Ад», X). Флорентинцы были разбиты наголову: и колесница, и колокол были отвезены в Сиену в виде трофеев, а

в Эмполи граф Джордано собрал совет, чтобы решить, нужно или нет скрыть до основания Флоренцию. Все требовали разрушения гвельфского гнезда. Фарината один восстал и не допустил этого.

...Я один там был, где был совет
Флоренцию разрушить. Я лишь громко
Сказать там смел, что делать то не след...

Так говорит он об этом с величавой гордостью Данте в аду («Ад», X, Г.).

Гвельфы снова, — то был второй раз, как и говорил Фарината, — пошли в изгнание и унесли с собою свои капиталы. На чужбине они делали отличные дела с курией и копили богатства. Из своих барышей они финансировали — под папскую гарантию — экспедицию Карла Анжуйского, сокрушившую державу Гюэнштауфенов и открывшую им дорогу домой. Ибо после поражения и смерти Манфреда под Беневентом, гибеллины не могли держаться во Флоренции. Они ушли — и навсегда. Гвельф Данте мог сказать Фаринате слово, в котором была мучительная обида ему («Ад», X, Г.):

...Каждый раз
Наш род из ссылки возвращался,
А вашим та наука не далась.

Флорентийскому гибеллинизму как политической силе, выступавшей под собственным знаменем, пришел конец. Гвельфы решили подрубить самые корни гибеллинской мощи, ее богатые хозяйственные ресурсы. Имущества гибеллинов, в том числе знати, были конфискованы в пользу государства и потом проданы с молотка. Их дома-крепости в городе — разрушены до основания. На месте крепкого замка семьи Уберти некоторое время спустя, когда пространство, им занимаемое, было очищено от обломков, разбили площадь, славную поныне площадь Синьории. Позднее Арнольфо ди Камбио возвел на ней палаццо Синьории, а еще позднее между площадью и Арно-Джорджо Вазари построил, галерею Уффици.

Победу нужно было закрепить в законе. Так как конституция *primo popolo* была отменена гибеллинами, то теперь издали новую — *secondo popolo* (1267). В ней роль низших групп буржуазии не была так заметна, как в ее предшественнице. Ведь гибеллинов бояться уже не приходилось, а ни папа, ни Карл Анжуйский, фактически распорядившиеся судьбою Флоренции, не хотели усиления народа. Зато впервые была организована «гвельфская партия» как политическое соединение крупной купеческой и банковской буржуазии.

Однако ремесленники вовсе не собирались так легко отказываться от прав, которые им давал закон 1250 года и лишал закон 1267 года. Они повели наступление против крупной буржуазии и постепенно добились цели. В 1279 году кардинал Латино Франджипани, племянник папы Николая III, присланный им с миссией примирить враждующие группы, получил от города широкие полномочия и создал смешанное правительство из 14 членов (8 гвельфов и 6 гибеллинов примирившихся) с выборными подестою и «капитаном» во главе совета из 100 лиц и милиции из 1 000 человек. В 1280 году уже существуют три первых ремесленных цеха: кузнецов, мясников, сапожников. В 1282 году, когда Сицилийская вечерня^[3] и потеря всего острова отвлекли от Флоренции хмурое внимание Карла Анжуйского, была проведена новая конституция: создана правящая коллегия приоров, будущая Синьория, выбираемая членами всех цехов из числа членов старших цехов. Новая конституция сделала то, о чем мечтали граждане флорентийские: создала формальную независимость города и от короля, и от папы, а вместе с тем утвердила связь флорентийского государственного устройства с цеховой организацией. По этому случаю были узаконены еще два ремесленных и мелко-торговых цеха: плотников и торговцев старыми вещами. Еще девять получили свою организацию и свои знамена в 1288 или в 1289 году. Так установился состав городских корпораций: семь старших цехов (*arti maggiori*) и четырнадцать младших (*arti minori*). Или: семь старших, пять средних (*arti mezzani*) и девять младших. К старшим принадлежали представители торгового капитала (*popolo grasso* — жирный народ). К средним — зажиточная часть мелкой буржуазии. К младшим — мелкие торговцы и ремесленники победнее. Вне цехов был *popolo minuto* (тощий народ): нецеховые, т. е. самые бедные ремесленники, квалифицированные и неквалифицированные рабочие, т. е. элементы, лишённые экономической самостоятельности. То, что было вне цехов, было лишено политических прав. А вне цехов кроме «тощего народа» были еще дворяне.

Все конституции, начиная с *primo popolo*, имели целью борьбу с

дворянами. Упорство и продолжительность этой борьбы объясняются, конечно, не только политическими причинами. Хозяйственная база дворянства была в деревне, в их имениях, т. е. в земле и в крестьянах. То, что дворяне владели землею, было еще полбеды; земля постепенно переходила в руки пополанов, особенно после конфискации гибеллинских поместий. Но то, что дворяне командовали большими крестьянскими массами, пополанов очень стесняло. В XIII веке промышленность развивалась чрезвычайно бурно. Требования на рабочие руки росли беспреестанно. Дать их мог только приток из деревни. А дворяне своих крестьян в город не пускали. Поэтому законодательство всячески старается подорвать устойчивость дворянского землевладения на городской территории, чтобы вынудить дворян мобилизовать земли и обеспечить свободу передвижения населяющим их крестьянам. Уже в конституции primo popolo есть статья, которая гласит, что если дворянин покусится на права народа, все его крестьяне будут объявлены свободными. Конституция secondo popolo эту статью подтвердила. В середине 1280-х годов Синьория уничтожила податные изъятия дворян — остатки привилегий, выговоренных при поселении в городе — и обложила их земли гораздо тяжелее, чем земли пополанов. В августе 1289 года появился закон, который запретил продажу и покупку крестьян, разрешил городу выкупать крестьян с целью их освобождения и самим крестьянам самовыкупаться, с обязательным оставлением надела помещику, и объявил свободными как людей, так и их личное имущество. Но самый решительный удар нанес дворянам тот закон, который считается великой хартией вольностей Флорентийской республики, — «Установления справедливости», Ordinamenti di giustizia 1293 года.

Творцом этого закона был дворянин-изгой, лидер младших цехов, Джано делла Белла. Пойти против своей социальной группы заставила его, по преданию, обида, нанесенная одним из виднейших представителей дворянства, неукротимым Берто Фрескобальди, банкиром, которого еще Гвиттоне д'Ареццо, старейший поэт тосканской школы, упрекал за то, что он не хочет в своей гордыне возблагодарить бога за все благодеяния, которые он ему оказал. Хронист Аммирато так описывает эпизод: «Джано делла Белла поспорил в церкви Сан Пьер Скераджо с Берто Фрескобальди, рыцарем и дворянином, о чем-то, что Берто силою хотел навязать Джано, и Фрескобальди разъярился до такой степени, что, схватив Джано за нос, закричал, что отрежет его, если он посмеет сопротивляться». Причина, вероятно, была более серьезная, но мы ее не знаем. Во всяком случае Джано сумел организовать ремесленников в такую внушительную силу, что

они провели, быть может отчасти против воли крупной буржуазии, этот закон.

Ordinamenti прежде всего определяют состав полноправного гражданства. Это — цехи, все числом 21. Имеют право быть избранными в коллегия приоров только те члены цехов, которые фактически и постоянно занимаются торговлей, промышленностью, ремеслом и не имеют дворянского звания. Дворяне, следовательно, не выбирают и не выбираются. И не только. Они вообще лишены прав. За малейшие преступления им грозят тягчайшие казни, причем еще члены дворянских семейств связаны коллективной ответственностью. Позднее из этого сделали дальнейший вывод. Если дворянство равносильно лишению прав, то, очевидно, чтобы лишить прав пополана, нужно сделать его дворянином, а в следующей степени — сверхдворянином (*sopragrande*): все феодальные представления о чести и праве опрокинуты буржуазным правосознанием. Чтобы придать прочность «Установлениям», в коллегия приоров введен новый член — «знаменосец» или «гонфалоньер справедливости» (*Gonfaloniere di Giustizia*). Он председательствует в коллегии и ему подчинена созданная незадолго до того городская милиция. Коллегия меняется каждые два месяца.

Первые два года после издания «Установлений» младшие цехи забрали такую власть, что «жирный народ» встревожился. Преследования за дворянские преступления превратились в настоящий террор, который косвенно задевал и крупную буржуазию. Одним из обычных, не самых тяжких, наказаний дворян было срытие дома, сопровождавшееся уничтожением всего в нем находившегося. Имущественный ущерб это наносило огромный, а так как многие дворяне были и пайщиками в купеческих предприятиях и должниками купцов, то столь беспощадное истребление дворянского имущества отзывалось и на интересах купцов. Поэтому купечество заключило соглашение с дворянами и в 1295 году провело поправку к «Установлениям», фактически восстанавливающую дворян в правах. Новый закон гласил, что право быть избранными имеют не только фактические торговцы и ремесленники, но и лица, вообще внесенные в цеховые матрикулы: попасть в списки ничего не стоило.

Крупная буржуазия от этого, конечно, выиграла: потому что был положен конец всемогуществу младших цехов и потому что дворяне стали записываться исключительно в старшие цехи. А в еще большей выгоде были дворяне, разделавшиеся с бесправным положением и получившие вдобавок смягчение некоторых карательных законов. Коалиция, словом, была спаяна обоюдной выгодой, и на этой основе укрепилось влияние

«гвельфской партии», которое длилось целые полтора века. И стала понемногу сглаживаться социальная разница между богатым дворянством и «жирным народом» под нивелирующим влиянием роста крупного капитала. Капитал концентрируется, сметает конкурентов в банковом деле из других городов, в том числе из богатой Сиены, создает колоссальный подъем в промышленности и, так как, несмотря на это, ему не хватает на родине поля, чтобы развернуться вполне, двигается за Альпы. Но это уже факты более позднего времени.

Борьба гвельфов и гибеллинов оставила глубокий след в истории флорентийской культуры. Данте вырос, окруженный живыми и звонкими ее отголосками.

Борьбу свою участники ее возводили к соперничеству императора и папы. И как раз в момент обострения местных ее мотивов на императорском троне сидел человек совершенно исключительный: ни один из императоров, не исключая ни Барбароссы, ни Оттона Великого, ни Карла Великого, не был равен по гению Фридриху II Гоэнштауфену. Никогда папство как институт не подвергалось такой опасности, как при нем. Никто не умел так собрать, так организовать и сделать орудиями своих планов все противопапские силы, которые хаотически бродили в итальянском обществе в эту переходящую эпоху. Для Флоренции было особенно важно то, что в моменты победы гибеллинов, осененных издалека блеском императорской эгиды, получили свободу слова и действия ее еретики.

Ересь — это свободная религия, не желающая считаться с тем, что предписывает церковь и ее глава, провозглашающая право всякого индивидуального разумения искать своего бога, конечно, в пределах христианской веры. Она пришла с Востока. Родиною ее была маздеистская Персия и коренилась она идейно в дуализме зороастровой религии. Через Армению ереси попали в Византию, из Византии — в Болгарию. Манихейство и богумильство были их этапами. С востока, по пятам за купцами, возвращавшимися домой с грузом левантских товаров, ересь пришла в Европу. Так как купцы жили в городах, устроилась в городах и ересь. Догматическая основа ереси, маздеистский дуализм, представление о двух началах — добром и злом, проступал во всех первоначальных видоизменениях восточной ереси: у патаренов, катаров, вальденсов,

апостольских братьев. Распространение и закрепление ереси в итальянских коммунах было обусловлено покровительством, которое, как ни дико это кажется, оказывала ей церковь.

В коммунах ересь нашла сторонников во всех классах общества и очень рано стала разветвляться по классовому признаку. В более состоятельных и более культурных группах городского населения имело наибольший успех ее догматическое зерно. В городских низах — коммунистические мотивы, ибо в городах уже шло классовое расслоение. Религиозный коммунизм в виде идеи «божьего царства», которое должно прийти и принести с собою равенство, зародился еще в утопиях раннего христианства, но не мог пустить корней, ибо был лишен питающей социальной среды. В коммунах эта почва появилась, и евангелие, непосредственное чтение которого входило в программу каждой ереси, давало сколько угодно аргументов, подкрепляющих религиозно-коммунистические идеи. У богатых и у бедных в коммунах были таким образом свои классовые ереси, и каждая развивалась самостоятельно. И именно для того, чтобы иметь на своей стороне городские массы, церковь в лице папы Григория VII поддерживала первых в Европе еретиков — патаренов — против епископов. Епископы были враждебны папе как сторонники императора и представители той феодальной касты, с которой Григорий вел энергичную борьбу. А патарены, пользуясь его поддержкой, утверждали свое право верить по-своему, вопреки требованиям епископской ортодоксии. Потом папство, конечно, изменило эту политику и стало бороться вместе с епископами, уже лишенными политической власти и подчинившимися Риму, против еретиков. Но кратковременный союз с папством дал ересям такую силу, — что вся первоначальная культура итальянской коммуны оказалась построенной на еретических основах. Идеологией коммуны долго снабжала ересь.

В борьбе гвельфов и гибеллинов ересь, конечно, должна была играть очень большую роль. Папство, перепуганное силой и распространенностью ересей, вело против них отчаянную борьбу. Императоры, искавшие всюду оружие против папства, их энергично поддерживали. Особенно энергично поддерживал их Фридрих II, который задался грандиозной целью — осуществить мировую миссию империи помимо папства, и присваивал себе все те задачи, которые в недалеком прошлом создали папству его самую большую славу. Он организовал крестовый поход без Рима, овладел Иерусалимом без Рима, короновался там у гроба Господня без Рима. Борьба шла ожесточенная.

Флоренция была особенно богата ересями. К тому моменту, когда в

распрю гвельфов и гибеллинов были втянуты пополаны, церковь одолела наиболее сильный натиск еретической стихии. Доминиканские костры и узаконение самой популярной из ересей, францисканства, частью сдержали, частью удовлетворили алкание свободной веры. А когда Фридрих II решил организовать противопапские силы, он не мог отбросить еретические кадры. Как государь он должен был подавлять ересь, ибо ересь искони рассматривалась как проявление не только противоцерковных, но и противогосударственных настроений. Но как противник папства он ее поощрял. Во Флоренции самой популярной ересью было так называемое «эпикурейство», — учение, отрицавшее бессмертие души: материализм в элементарной средневековой формулировке. Ее адептами были люди высших классов. В ней не было совсем коммунистических мотивов, которые делали ереси катаров, вальденсов, апостольских братьев столь популярными в кругах беднейшего населения. Но самое ее беспрепятственное, не просто терпимое, а поощряемое распространение позволяло и демократическим ересям организоваться под ее крылом и свободно вести свою пропаганду. Еретики разных толков чувствовали себя во Флоренции настолько свободно, что в 1245 году, когда гибеллины еще не одержали своей первой победы, но большинство определенно склонялось на их сторону, под стенами и в стенах собора произошло побоище между еретиками, во главе которых стоял подеста города, и верными сынами церкви — монахами и священниками, которых вел Петр Мартир. И хотя будущий святой умел очень искусно творить чудеса, но на этот раз и он и его благочестивая рать были жестоко побиты. Нечего и говорить, что в годы господства гибеллинов, 1248–1250 и 1260–1266, еретики пользовались не только свободой вероисповедания, но и покровительством, и очень мало волновались из-за интердиктов, которыми папы без отдыха осыпали город.

Не следует однако думать, что еретиками были исключительно люди гибеллинских настроений. Их было много и среди гвельфов. В дантовом аду в одной и той же раскаленной огненной могиле помещаются в ожидании страшного суда два эпикурейца: гибеллин Фарината дельи Уберти и гвельф Кавальканте деи Кавальканти. Так было и в жизни. «Эпикурейцем» был также сын Кавальканте, зять Фаринаты, Гвидо Кавальканти, ближайший друг Данте в юности, «юноша изящный, благородный рыцарь, любезный и смелый, но высокомерный, склонный к уединению и усердный в занятиях», как характеризовал его Дино Компаньи, а комментатор Данте, Бенценуто да Имола, говорит про него, что он защищал «по-ученому» мнения и заблуждения, которым отец его, мессер Кавальканте, следовал «по не-невежеству». Читавшие «Декамерон»

знают, какой беглый, немного гротескный силуэт Гвидо оставил потомству Боккаччо.

Главное гнездо эпикурейства, которое, пока существовало, поддерживало движение во всей Италии, находилось при дворе Фридриха II, в Палермо. Сам император, его сыновья: Манфред, Энцио и Федерико Антиохийский, все четыре светловолосые, большинство его придворных — были сплошь последователи этого учения. А когда умер Фридрих, Манфред продолжал оказывать материалистической ереси свое покровительство. Джованни Виллани, гвельф и флорентийский патриот, набросал в своей хронике такой его портрет, в котором так и светится сдержанное сочувствие несчастному герою, врагу Флоренции. «Он был красив телом и, как отец, и даже больше, любил жизнь, полную удовольствий. Он играл на разных инструментах и был обучен пению. Охотно окружал себя жонглерами, странствующими искусниками и красивыми наложницами. Всегда одевался в зеленые одежды, был щедр, вежлив, приветлив, так что всех тянуло к нему. Но вся его жизнь была полна эпикурейства. Он знать ничего не хотел о боге и святых и вместо них любил только земные удовольствия». И так велико было его обаяние, что Данте не засадил его в ад, где мучились в пылающих могилах Фридрих II и флорентийские эпикурейцы, а, как увидим, дал ему место в чистилище, т. е. надежду на спасение.

После того как гвельфы восторжествовали во Флоренции окончательно, ересь не умерла. И даже не совсем ушла в подполье. Она продолжала держаться и оказывала свое живительное влияние на умы граждан. Лишь значительно позднее, в 1304 году, когда были изгнаны и «белые» — об этом ниже, — проповедник Фра Джордано мог сказать, что еретики «почти исчезли». Да и то можно предполагать, что заявление усердного монаха было чересчур оптимистично. Недаром Джованни Виллани под 1346 годом снова повторяет утверждение Фра Джордано и столь же нерешительно («почти не осталось»). Во всяком случае, в пору юности Данте ереси еще держались. Мы увидим, как факты других культурных категорий испытывали их воздействие.

Но борьба гвельфов и гибеллинов оказывала влияние не только на религиозную стихию Флоренции. Она влияла очень сильно и на первоначальную стадию развития флорентийского искусства в самом широком смысле этого слова. И пространственные искусства, и поэзия долго несли на себе следы гибеллинских влияний. Скульптура и живопись нас в данный момент не интересуют. Но Данте был поэт, и нам нужно знать, чем была тосканская поэзия до того момента, как проснулась его муза.

«Эти славные герои, император Фридрих и высокородный сын его Манфред, пока фортуна была им благоприятна, прилежали к делам достойным человека и презирали грубо-животные. Поэтому те, кто был наделен духом возвышенным и изящным, стремились сообразоваться с величием столь достойных государей. И в те времена всё, что было блестящего среди людей латинской крови, появлялось прежде всего при дворе этих великих венценосцев. И так как столица их была в Сицилии, то и повелось, что все, что наши предшественники слагали на народном языке, зовется сицилианским».

Так изображает начало итальянской поэзии Данте в своем латинском исследовании «О народном языке». Этот народный язык поэт называет высоким народным языком (точнее — придворным, *curiale*). Тосканцы, особенно флорентинцы, претендуют, что их наречие и есть этот высокий народный язык; мнение это разделяется не только низшими классами, но и известными людьми, как Гвиттоне д'Ареццо, «который никогда не писал на высоком», Бонаджунтою из Лукки, Галло — пизанцем, Мино Мокато из Сиены и Брунетто Латини — флорентинцем. Но это не так. Высоким становится тосканское наречие только тогда, когда его стараются приблизить к литературному сицилианскому. Таково оно у Гвидо Кавальканти, Лапо Джанни, Чино да Пистойя и «еще у одного». Так Данте, скрывший себя под прозрачным анонимом, ведет происхождение того языка, который под названием *volgare* просто, без эпитетов, будет выкован, как увидим, им и его соратниками по «сладостному новому стилю». В нем все лучшее, что было в тосканском наречии, слилось с лучшим, что было в других наречиях, в том числе и в сицилийском, которое первым пошло в литературную обработку, а все вместе было облагорожено стилистическим влиянием провансальского и латинского. И хотя суровый поэт очень пренебрежительно относится к своим флорентийским предшественникам, но под его пренебрежением, мы это знаем, скрывается в очень большой мере партийно-политическая полемика. Еще до середины XIII века во Флоренции звучали стихи, очень разнообразно окрашенные социально и очень богатые по формам.

Провансальское влияние приносилось во Флоренцию странствующими трубадурами, один из которых Ук или Гуго де Сен Сир, ярый гвельф, посылал пламенные призывы в стихах графу Гвидо Гверра, чтобы побудить его ополчиться на императора-еретика (1248). Стихи

слагали понемногу все. Дворяне гибеллины — Лапо дельи Уберти, сын Фаринаты, его родственник Пьер Азино, кардинал Оттавиано дельи Убальдини, компаньон Фаринаты по мучению за ересь в огненных могилах у Данте, Форезе Донати, друг нашего поэта; наряду с ними купцы, юристы, нотариусы, ремесленники, духовные лица: кое-кого, мы видели, называл Данте. Их язык — не «высокий», а тот, который Данте называл мещанским. После середины XIII века поэтов и стихов стало очень много, стихи сделались страстью всех классов общества, и среди них попадалось не мало таких, в которых непосредственности и свежести было гораздо больше, чем в ученых и заумных аллегориях поэтов «сладостного нового стиля». Этот стихотворный поток^[4] нуждался в какой-то плотине, и еще задолго до того, как школа «сладостного нового стиля» выступила с реформой, предъявившей к стихам определенные, очень строгие требования, делались попытки разграничить званных и избранных. Но по-настоящему впервые сократилось это стихотворное наводнение после 1268 года. И по причинам совсем особенным. Большинство стихов до этого момента принадлежало к разным видам политической лирики. Особенно процветала тенциона, стихотворное состязание, в котором люди разных политических взглядов осыпали друг друга затейливо рифмованными ругательствами. Когда в 1268 году через Тоскану проходил юный Конрадин Гюэнштауфен, спешивший на юг, чтобы отнять у Карла Анжуйского дедовский престол, Флоренция вся зазвенела стихами, в которых гвельфы, обозленные и напуганные опасностью, особенно после того как гибеллины уничтожили большой отряд французских рыцарей ночью в засаде Адского ущелья, давали выход своему боевому возбуждению и своей ненависти. Но не смолкли окончательно и гибеллинские голоса. И не только в дворянской среде. Не отставали и гибеллинские пополаны. Ювелир Орландуччо вступился за юношу-героя, который не побоялся меряться силами со старым анжуйским волком. Орландуччо нападал на гвельфа Паламидессе Беллиндотти, а тот в ответ высмеивал противника ювелира, говоря, что он расхрабрился лишь оттого, что носит богатырское имя: Орландо (Роланд). Тенцоны гремели такие, что власти решили вмешаться для предупреждения худшего. Под страхом тягчайших наказаний было запрещено слагать стихи гибеллинского направления, а также и полемизировать с гибеллинами. Этот декрет подрезал сразу всю политическую лирику. Гибеллинские поэты, как Рустико Филиппо, стали сочинять непристойные стихи, все поэты вообще перешли на любовную лирику. Именно в любовную лирику, расплывшуюся в полном беспорядке во все стороны, должен был внести

порядок *dolce stil nuoro*.

Среди огромного множества поэтов, которые вели свою линию и не пошли на соблазн «сладостного нового стиля», один был человеком очень одаренным: Гвиттоне д'Ареццо, ярый гвельф и столь же ярый сторонник крупной буржуазии. После Монтаперти он оплакивал несчастье Флоренции, которая, попав в руки гибеллинов, стала служанкою вместо того, чтобы наравне с Римом господствовать над миром. Потом он увлекся провансальскими образцами и стал воспевать любовь. Но под конец жизни он опрокинул алтари Венеры, начал в стихах прославлять укрощение плоти, нападал на Кавальканте деи Кавальканти и на некоего мессера Лапо за то, что они не связывают своих упований с мыслью о небе, а по-эпикурейски и греховно желают наслаждаться в земной жизни. И недовольно ворчал в стихах, что теперь всякий считает себя равноправным, и даже маленький человек хочет принимать участие в управлении городом: это было после того, как учреждение приората (1282) дало больше прав младшим цехам. Его стихи Данте назовет, мы знаем, типично плебейскими, не «высокими» и в исследовании о языке будет восклицать: «пусть же смолкнут сторонники невежества, восхваляющие Гвиттоне д'Ареццо и других, которые в словах и в стихах никогда не перестанут быть плебеями».

«Италия была первой капиталистической нацией. Конец феодального средневековья, начало современной капиталистической эры отмечены колоссальной фигурой. Это — итальянец Данте, одновременно являющийся последним поэтом средних веков и первым поэтом нового времени» (Энгельс).

Данте было год с небольшим, когда гибеллины ушли в изгнание окончательно, семнадцать — когда создан приорат, двадцать восемь — когда были изданы «Установления справедливости».

Глава II

Детство и юность

1

Отправляясь биться с неверными, Кваччагвида оставил во Флоренции жену и детей. Жену звали Алагьера; она была родом «из долины По». Ее именем был назван один из сыновей, Алагiero, потомство которого стало зваться Алагieri или Алигиери. Алагiero был женат на дочери Беллинчоне Берти, сестре прекрасной и добродетельной Гуальдрары. Сыну дано было имя деда — Беллинчоне, а сыну Беллинчоне имя прадеда — Алагiero. Второй Алагiero был женат на Белле, дочери Дуранте дельи Абати. Их сын тоже получил имя деда, Дуранте, и прославил навеки это имя, но не полное, а уменьшительное: Данте.

Алигиери были дворяне, но не принадлежали к старой феодальной знати, среди которой блистали Уберти, Донати, Пацци, Кавальканти, Тозинги, владельцы замков и крестьян. Имена Алигиери были маленькие и большими богатствами они не владели. Но тем не менее к пополанам ни они себя, ни коммуна их не причисляли.

Потомки старшего сына Кваччагвиды были гибеллины. Алигиери были гвельфы и многие из них дважды ходили в изгнание и дважды возвращались. Но Алигиери, еще слишком юный в дни Монтаперти, подобно многим другим гвельфам, не подвергся изгнанию, а когда вошел в возраст, то гибеллины, чувствовавшие приближение кризиса, были более умеренны в наложении новых кар. Данте родился во Флоренции в мае 1265 года. Детей крестили во Флоренции раз в год. Начиная со среды, на четвертой неделе поста, священник собирал имена младенцев вместе с именами крестных, а в страстную субботу их всех крестили в городском баптистерии, «прекрасном Сан Джованни». Если мы не знаем точно дня рождения Данте, то знаем день его крещения — 25 марта 1266 года.

Алигиери умер, когда сын его был совсем юн. Но он успел направить на хороший путь его образование. Во Флоренции были школы и учителя, и начатки знаний дети могли получать неплохие. Они не выходили, конечно, из рамок средневековых школьных программ. Данте обучился в школе грамматике и риторике, т. е. уметь читать свободно средневековые

латинские тексты и с грехом пополам классические. К этому присоединились кое-какие знания по истории, элементарное богословие, обрывки сведений по географии и астрономии и немного естествознания, где суеверие и выдумка занимали гораздо больше места, чем сколько-нибудь точные наблюдения. Большого школа дать ему не могла. Университета во Флоренции еще не было. Закладывать настоящие основы своих знаний Данте пришлось самому. Он читал все, что попадало ему под руку, больше по-провансальски и по-французски: оба языка были хорошо известны во Флоренции вследствие ее постоянного общения с северными гостями, званными и незванными. А когда он стал переходить в юношеский возраст, его ученый багаж начал расти очень быстро.

Раньше, чем из классиков, Данте познакомился по своим провансальским и французским книгам с целым миром образов и фактов, насытивших и раскаливших его воображение. Тут были мифы об Эдипе и о Фивах, о Трое и об Энее, чуть не весь цикл Овидиевых «Метаморфоз», истории об Александре Македонском и о Юлии Цезаре, средневековые сказания о Карле Великом и его паладинах, о Роланде, о четырех сыновьях Эмона, о Ланселоте, о Тристане. Дальше шли — дидактическая поэзия «Романа о Розе» и рифмованные французские энциклопедии, добираться до сокровенного смысла которых помогал Данте их автор, ученый нотариус и поэт, его старший, горячо почитаемый друг, Брунетто Латини. Он не был его учителем в собственном смысле этого слова, потому что у него не было школы, но он был руководителем его занятий и внимательным, любящим ментором. И наконец, — потому что это тоже относилось к учению такого юноши, как Данте, — он поглощал несметное количество провансальских стихов, главным образом лирику. Все выдающиеся представители провансальской поэзии становились понемногу ему родными: Арно Даниэль, Бертран де Бори, Гиро де Борнейль и многие другие. И дополнял их латинский трактат Андрея Капеллана «О любви», книга популярная во всей ученой и полу-ученой Европе, хорошо известная во Флоренции. Одновременно Данте знакомился и с творчеством сицилийской школы и с произведениями флорентийских стихотворцев. Мы видели, как расценил он позднее своих предшественников. «Высокие» и «плебейские» стихи уже в юношеских впечатлениях разграничивались для него достаточно четко, и не было в нем ничего, что могло бы его побудить отдать свои симпатии стихам «плебейским»: ни в крови, ни в характере, ни в умственных предрасположениях. Собственный путь поэта и ученого начинал понемногу рисоваться перед его взором: провансальско-сицилийские образцы осветили его начало.

Поэзия не была единственным искусством, которому обучали юношу. Как все дети состоятельных, особенно дворянских семей, Данте учился понемногу рисованию и музыке. Ни то, ни другое не стало ему родным, как поэзия, но повидимому он мог играть на лютне и слегка владел рисунком. Он сам рассказывает, что в годовщину смерти Беатриче он нарисовал на дощечке ангела, стараясь воскресить милые черты. И совершенно несомненно, что если эти занятия не сделали Данте ни живописцем, ни музыкантом, то хорошо вышколили ему глаз и ухо — качества, очень пригодившиеся ему потом. Несравненное его пластическое чутье, тонкое умение различать нежнейшие оттенки одного и того же цвета, способность находить для каждого настоящие слова и чувство гармонии, — все то, что с такой щедростью будет расточаться потом в «Комедии», было заложено в нем с юных лет.

Воспитание, которое Данте получил, было таково, что давало больше пищи воображению, чем рассудку, и больше возбуждало фантазию, чем любознательность. Ум не пробудился еще в нем по-настоящему, а чувство уже бурлило и нетерпеливо рвалось к новым впечатлениям. Оно нашло их очень скоро, и Данте был поглощен ими надолго. Его захватила юношеская любовь, но особенная.

Джованни Бокаччо рассказал ее историю в написанной им биографии Данте. Гениальный новеллист расцветил этот эпизод самыми яркими красками своей палитры, и рассказ вышел таким художественным и таким увлекательным, что строгая критика нового времени долго считала его вымыслом. Но чем больше изучался вопрос и чем обильнее выходили на свет подлинные архивные документы, тем больше подтверждения получили факты, сохраненные Бокаччо.

«В дни, когда небесная истома одевает землю ее украшениями и наполняет ее весельем, рассыпая цветы меж зеленых ветвей, — в нашем городе был обычай, у мужчин и у женщин подряд, устраивать, празднества, отдельными группами, по месту жительства каждого. Так, подобно другим, и Фолько Портинари, человек очень почтенный между своими согражданами, собрал однажды соседей на праздник в день первого мая в своем доме. Среди них был и упомянутый Алигиери, а с ним вместе, — ведь так уже водится, что родители берут с собой маленьких детей, особенно если идут куда-нибудь поразвлечься, — пошел и Данте, которому

еще не исполнилось и девяти лет. Там, смешавшись с другими детьми, своими ровесниками, мальчиками и девочками, которых было много на празднике, после того как все подкрепились первыми угощениями, он стал по-детски веселиться с остальными сообразно своему возрасту. Среди детей находилась дочь названного Фолько, имя которой было Биче (хотя сам Данте всегда называл ее полным именем: Беатриче), девочка лет восьми, по-детски очень милостивая и грациозная, привлекательная и приятная в обращении, более серьезная и скромная в поступках и словах, чем можно было требовать в ее годы. А черты ее лица, необыкновенно нежные, очень правильные и округлые, придавали ей помимо красоты такое скромное изящество, что многим она казалась ангелочком. Такой, какой я ее изображаю, а может быть и еще более, прекрасной, явилась она перед глазами нашего Данте, думаю, не в первый раз вообще, но в первый раз способная вызвать любовь. А Данте, хотя и ребенок, с таким глубоким чувством принял в сердце ее чудный образ, что он с этого дня так и остался там запечатленным до конца его жизни...»

Боккаччо привык писать новеллы и живописать наружность своих героинь. Изображая маленькую Биче, он вспомнил на старости лет произведения своих молодых годов и детскую влюбленность Данте описывал почти так, как чувства Федерико дельи Альбериги или Настаджо дельи Онести, пылких любовников из «Декамерона». Стилизация художника.

Тот же эпизод, но по другому стилизованный, рассказывает сам Данте в «Новой жизни», в самом начале. Прошло девять лет, говорит он в 1283 году, когда «перед моими глазами появилась впервые дама моих помыслов, которую многие называли Беатриче, не зная, что так и должно ее звать... Она явилась мне в началесвоего девятого года, а я увидел ее на исходе моего девятого. Она была одета в благороднейший цвет, скромный и достойный, алый, опоясана и украшена, как приличествовало ее нежнейшему возрасту... С тех пор, говорю я, Амор владеет душой моею, которая сразу отдалась ему и обрел он надо мною силою, данной ему мой воображением, такую незыблемую власть, что вынуждал меня исполнять до конца все его желания. Он приказывал мне много раз, чтобы я старался видеть этого ангела-ребенка, и в детстве моем я неоднократно ходил искать ее. И созерцал столь благородные и похвальные ее привычки, что поистине о ней можно сказать словами поэта Гомера: «Она казалась дочерью не смертного мужа, а бога».

Дом семьи Алигиери помещался недалеко от собора на площади Сан Мартино и всего один коротенький переулок отделял его от дома семьи

Портинари. Встречаться детям было вовсе не трудно и в этом не было ничего, что нарушал бы обычай.

Едва ли сам Каччагвида нашел бы в этих детских встречах признак упадка нравов. И, конечно, не было в них ничего, о чем с романтической целью говорил Бокаччо и с поэтико-аллегорической — сам Данте. Между девятью и восемнадцатью годами Данте учился и вырастал умственно. Это были годы 1274–1283. Царило спокойствие. Гибеллины бессильно обивали пороги ломбардских и романьольских тиранов и тосканских комунн, враждебных папе. После катастрофы Конрадина^[5] Флоренция могла не бояться эмигрантских происков и уже допускала кое-кого из гиббелинов в свои стены. Не были допущены только самые закоренелые, в том числе все Уберти: Лапо и Федерико, сыновья Фаринаты, Лупо, сын Пьеро, да и тем была дана надежда на амнистию, если они честно прекратят свои интриги. 18 января 1280 года Данте, которому было уже пятнадцать лет, мог присутствовать на двойном торжестве на площади Санта Мариа Новелла, как бы символизировавшем этот этап в эволюции города.

Незадолго перед этим папа Николай III Орсини, не очень большой друг Карла Анжуйского, прислал во Флоренцию своего племянника, известного уже нам кардинала Латино Франджипани в качестве «умиротворителя». Кардинал был доминиканцем. Он пожелал освятить только что достроенное здание самого большого храма своего ордена и тут же перед ним на площади принять клятву мира от гвельфов и гиббелинов. Праздник вышел богатым и пышным. Из окон кругом свешивались пестрые ковры и разноцветные материи. Было сооружено несколько высоких помостов, убранных дорогими тканями. Площадь была битком набита пешими и конными, военными в латах, пополанами в ярких праздничных одеждах, монахами и белым духовенством в торжественных облачениях. Над толпой колыхались знамена милиции, значки корпораций, щиты с фамильными гербами. И тут же стояли с суровыми и строгими лицами те, кто должен был принимать присягу, с поручителями. Отцы двадцать лет назад бились в смертном бою при Монтаперти. Сыновья дают друг другу символический поцелуй примирения в губы, выслушав красноречивую речь, которую кардинал Латино произнес с самого нарядного из помостов, «а был он ученым и отличным проповедником» (Дж. Виллани).

Еще два с половиной года спустя, в июне 1282 года, Флоренция, как мы знаем, создала себе такое правительство, какое ей было нужно, — приорат: Карла Анжуйского после Сицилийской вечерни можно было уже не так бояться. В это время Данте было уже восемнадцать. Образование его было закончено и он был поэт.

О том, как он сделался поэтом, он поведал сам в той же «Новой жизни», продолжая рассказ о своей любви. «Когда прошло столько дней, что исполнилось почти девять лет после появления той благороднейшей, под конец этого срока случилось, что эта удивительная дама встретила со мною, одетая в белоснежное платье, сопровождаемая двумя другими дамами старше возрастом. И, проходя по одной улице, обратила свой взор к тому месту, где находился я в великом смущении, и в неизреченной милости своей поклонилась мне столь благосклонно, что показалось мне, будто я достиг пределов блаженства. Час, когда я удостоился ее сладостного поклона, был девятый этого дня. И так как первый раз с уст ее слетели слова, чтобы достигнуть моего слуха, я был охвачен такой нежностью, что как в опьянении ушел от людей. И добравшись до уединенного места, моей комнаты, стал думать об этой милостивейшей»... Тут юноша заснул и увидел сон, загадочный и дивный. Проснувшись, задумался. «И думая о том, что мне приснилось, я решил поведать об этом многим, которые были славными трубадурами в те дни. А так как я научился самостоятельно искусству говорить слова рифмуя, то решил сочинить сонет, в котором я бы приветствовал всех верных Амору и прося их истолковать виденный мною сон, написал бы им, что мне приснилось. Так я начал следующий сонет»...

Но, чтобы понять последующее, нужны пояснения.

3

«В 1283 году, в месяце июне, к празднику св. Иоанна Крестителя, в то время, когда город Флоренция пребывал в счастливом и прекрасном состоянии покоя, наслаждался отдыхом и миром, столь полезными для купцов и ремесленников и особенно для гвельфов, стоявших во главе города, — образовалась в приходе церкви Санта Феличита, на том берегу Арно, дружина в несколько групп, в тысячу, если не больше, человек, одетых во все белое, и с вождем, который именовался Амором. Эта компания только и думала, что об играх, развлечениях и танцах: дам, кавалеров и других попопанов. Они ходили по городу с трубами и всякими инструментами, предаваясь веселью и радости, собираясь на совместные пиры, трапезы и вечера. Это празднество длилось почти два месяца и было самым благородным и славным из всех, которые когда-либо устраивались во Флоренции или в Тоскане. На него собирались отовсюду многие искусники и жонглеры, и все они встречали почетный прием и

гостеприимство... И не мог проехать через Флоренцию ни один чужестранец, чтобы его не приглашали наперерыв друг перед другом эти компании и не провожали его потом верхами по городу и за город...»

Так рассказывает все тот же Джованни Виллани, вводя нас в атмосферу, в которой Флоренция жила не очень долго от мира кардинала Латино до начала распри «черных» и «белых». Время было действительно спокойное и счастливое. Раздоры остались позади. Мир между партиями был скреплен клятвами и целованием. Стихли военные грозы; конституция приората, удовлетворявшая требованиям ремесленных цехов, обещала дальнейшее смягчение внутренней борьбы. И население по-настоящему отдыхало. Богатств в городе было не мало. Флоренция украшалась новыми пышными зданиями и веселилась. Веселиться она умела. Белая дружина проводила в своих играх аллегория, по всей вероятности, несколько более сложную, чем подметил и записал не искушенный в этих делах летописец. Но и то, что он сохранил для потомства, вводит нас в самую гущу того быта, в котором расцвела флорентийская ученая поэзия.

Счастливое и прекрасное состояние покоя. Гвельфская буржуазия во главе города. Хорошие дела. Это фон, на котором выступает белая дружина. Синьором — Амор, Любовь. Белые дамы и белые кавалеры двигаются по городу то в торжественном шествии, то в ритмичном хороводе, то в стремительном плясе, в венках и гирляндах из цветов. Их Виллани не заметил. Кто обращает на них внимание в «городе цветов» и еще в июне месяце? Трубы гремят, песни несутся по улицам и площадям, а когда смолкают песни, звучат стихи. Их Виллани прослушал. Летопись пишется не для таких пустяков.

Но мы знаем то, чего, не рассказывал мессер Джованни. Мы знаем многих, кто слагал стихи в белой дружине. И можем назвать имена. Кое-кто и был уже назван. Их не мало, флорентинцев и тосканцев, и разные у них стихи.

Жив еще старый Гвиттоне, но уже не выходит из монастырской кельи, и жив еще также старый Брунетто Латини. Жив и бодр. Он любит молодежь, и если не нарядился в белое, чтобы служить Амору, то одобрительно улыбался, глядя, как веселятся другие. Но уже нет на свете умершего раньше 1280 года очень даровитого провансалиста Кьяро Даванцати. Зато живы и полны задора два самых рьяных борца гвиттоновой рати; Монте Андреа и Рустико ди Филиппо, готовые каждую минуту вызвать весь свет на тенцону с самыми замысловатыми рифмами. Данте да Майяно, поэт тоже из старшего поколения, который держится старинных сицилийских ладов и любит побрызгать на молодых, ходит в

одиночку и не смешивается ни с кем. А в самом центре какой-нибудь из белых компаний хочется представить Гвидо Кавальканти, одного из первых кавалеров города, «второе око Флоренции во время Данте» (Бенвенуто да Имола), находившегося в самом расцвете своего таланта, диктующим законы всей белой дружине. И тут где-нибудь рядом его соратники по «сладостному новому стилю»: нотариус Лапо Джанни Рустикуччи и отпрыск банкирской семьи Дино Фрескобальди, сын Ламбертуччо, «собой красивый и приятный в обращении» (Донатто Веллуги), Терино да Кастельфьорентино и Джанни Альфани. И где-нибудь в белых рядах восемнадцатилетний Данте Алигиери, которого мало кто знает, и, быть может, совсем еще зеленый Чино да Пистойя. В белую дружину едва ли был принят Гвидо Орланди, стихотворец из народа, не ученый, но умный и задорный. «Тысяча» была богатая, из «жирных» пополанов, а не из «тощих».

Творчество было великое и обильное, но порядка в нем не было. Зато были все элементы, при помощи которых порядок мог быть внесен: большая образованность и большие таланты. И порядок водворился. Как это произошло?

Много лет спустя Данте сам рассказал нам об этом. В его рассказе не все точно, потому что все у него, как всегда, очень субъективно. Зато все проникновенно и насыщено большой внутренней правдой.

Поэт встречает в чистилище тень Бонаджунты из Лукки, поэта группы Гвиттоне, которая, смутно догадываясь, кто перед нею, спрашивает («Чист.» 25, Ч.):

Те стихи, не правда ли, твои:
«Для женщины понятен смысл любви»?

Бонаджунта вспомнил о знаменитой канцоне Данте, первой канцоне «Новой жизни» — «Donne ch'avete intelletto d'amore», про которую один из критиков сказал, что на итальянском языке никогда не было написано ничего более прекрасного. Данте отвечает терциной, вскрывающей самый сокровенный смысл его реформы. Это одно из самых славных мест во всей «Комедии».

*I'mi son un, che quando
Amore spira, noto, ed a quel modo
Che detta dentro, vo significando.*

(То, что в тишине
Порой любовь нашептывает мне,
Я претворяю в сладостные звуки).

И Бонаджунта признает, склонившись перед гениальным собратом:

О брат, — сказал он, — я сужу о силе
Узла, меня держащего вдали
От достижений в нежном новом стиле.

Г.

Впервые произнесены слова *dolce stil nuovo*. Далее следуют имена тех, кого «сладостный новый стиль» выбросил из сонма настоящих поэтов:

...Пытались бы напрасно
Мы так писать: нотариус и я
С Гвиттоне нашим

Ч.

Нотариус — это Якопо да Лентино, сицилиец, один из поэтов, быть может лучший из кружка Фридриха II. Гвиттоне и Бонаджунта — его тосканские последователи, не сумевшие приспособиться к строгим велениям «сладостного нового стиля». Бонаджунта покорно признает свою неспособность стать на новый путь:

Перо у нас, лишь истину — ценя.
Покорствует одной любви внушенью,
Но мы бежали от ее огня.
А кто идет не этим направленьем.
Не видит тот прекрасного границ.

М.

Бонаджунта говорит *vostre penne*, «ваши перья». Эти слова указывают, что Данте не один. У него единомышленники. Но он — вождь, он дает закон. Он научил людей подслушивать и возвещать миру то, что «диктует внутри» любовь. Была пора, когда это было не так. Данте это тоже знает и не хочет вовсе таить от своих читателей. Но он предоставляет им, если они достаточно посвящены в историю *dolce stil nuovo*, самим делать выводы. Иначе он не выбрал бы в собеседники Бонаджунту, ничем не замечательного, кроме одного выступления. Выступление было неудачное. Но именно потому старый поэт попал в «Комедию», и имя его осталось жить навеки.

Выступление Бонаджунты — это его полемика с Гвидо Гвиницелли, истинным родоначальником *dolce stil nuovo*. В «Комедии», где Данте заставляет его очищаться от грехов, он говорит о нем с необыкновенной теплотой: «Отец мой и других, лучших чем я, которые когда-нибудь слагали сладостные и нежные стихи о любви».

А в «*De eloquentia*» называет «великим Гвидо». Гвидо был ученым болонским юристом, первоначально писал стихи в манере Гвиттоне д'Ареццо и обращался к нему в стихах как к своему учителю. Но потом вдруг его песни звучали совсем по другому, чем у Гвиттоне. Знаменитая канцона «*Al cor gentil ripara sempre Amore*» перевернула все. Поэт переплавил в стихи всю философию, которой обучали в Болонском университете: смесь схоластики, мистики и аллегористики, и с помощью этой философии захотел разгадать загадку любви.

Любовь гнездится в сердце благородном,
Как птица в свежей зелени лесной...

Когда канцона стала известна, мало кто понял ее до конца и оценил. А Бонаджунта обратился к нему с сонетом, в котором упрекал его за то, что он переменял манеру, — еще бы: Гвидо совсем отошел от манеры их общего учителя Гвиттоне, — и за то, что его трудно понять...

Так темен образ вашей речи.

Бонаджунта просил объяснений, но Гвидо лишь бросил ему свысока:

Мудрец не может бегать легким бегом;

Он думает и ладит, как диктует мера.

Другими словами, поэт-философ вовсе не обязан быть понятным для всех. Этот принцип — доступность лишь для посвященных — сделается потом руководящим для целого направления. Но провозглашая его, Гвидо в сущности уклонился от тех объяснений, которых просил Бонаджунта. Их пожелал дать Данте. Поэтому он и вывел Бонаджунту в «Чистилище». Но его объяснение: «то, что в тишине любовь порой нашептывает мне, я претворяю в сладостные звуки» — не то, которое мог дать и не дал Гвидо. Его мог дать только Данте. Они относятся не к начальному этапу в истории *dolce stil nuovo*, связанному с Гвидо Гвиницелли, а к зрелому, связанному с Данте. Как же совершилась эволюция этого направления?

5

Прежде всего, что означало выступление Гвидо Гвиницелли? Было оно чисто индивидуальным актом или за ним скрывались социальные факторы? Гвидо не образовал никакой школы в Болонье, в родном городе, хотя там были поэты — Гвидо Гислиери, Фабруццо деи Ламбертацци, Онесто, которых Данте счел достойными упоминания в трактате о языке. Школа Гвидо создалась во Флоренции, менее ученой, чем родина первого в Европе университета, но более живой, более богатой и — что главное — более расчлененной социально. В Болонье стихи Гвидо были одним из многочисленных поэтических выступлений. Во Флоренции они положили начало школе и стали общественным фактом. Поэты, которые пошли за Гвидо, были все представителями гвельфской крупной буржуазии, вернее — гвельфской крупнобуржуазной интеллигенции. Общественный смысл направления, которое создано из подражания Гвидо, ясен.

Семидесятые годы — годы борьбы гвельфской буржуазии не только со скрытыми гибеллинами, с гибеллинским подпольем и гибеллинской эмиграцией, но и с упрямым напором младших цехов, которые в награду за поддержку против гибеллинов требовали участия в правительстве. Сгоряча — мы видели — им пришлось уступить очень много, но потом мало-помалу стали отбирать то, что дали. Естественно, ремесленники не отказались так легко от полученного, и на этой почве то и дело вспыхивали конфликты. Настроение ремесленников выливалось и в стихах, имевших яркую политическую окраску. Нам они остались неизвестны, как осталась

неизвестна большая часть политической лирики, потому что стихи этого рода были под запретом. Ведь пришлось прибегать к угрозам тяжелыми наказаниями, чтобы прекратить поток политических стихов. Мы это тоже знаем. Но административных мер было недостаточно. Нужно было эту оппозиционную классовую лирику дискредитировать. Нужно было провести резкую грань между тем, что впредь должно было иметь право называться поэзией, и тем, что должно было квалифицироваться как вульгарные вирши. Стихотворному равноправию нужно было положить конец. Этого требовал классовый интерес гвельфской буржуазии и этим объясняется успех лирики Гвидо Гвиницелли во Флоренции.

Кто ее главные представители? Мы пробовали разглядеть их лица в рядах белой дружины. Это — Гвидо Кавальканти, рыцарь, один из первых граждан Флоренции; это — Дино Фрескобальди, сын богатого банкира; это — Лапо Джанни Рустикуччи, нотариус; это — Джанни Альфани, гонфалоньер 1310 г.: это — Данте Алигиери, приор 1300 г.; это Чино да Пистойя, один из представителей провинциальной знати. И так все. Школа Гвидо Гвиницелли во Флоренции была не только ученым направлением в поэзии, она была одним из способов социальной борьбы.

Когда Бонаджунта выступил против Гвидо Гвиницелли, это была чисто литературная полемика. Но неученые поэты очень скоро почувствовали и социальное жало нового направления, которое либо вынуждало их смолкнуть, либо превращало в третьесортных стихокропателей. К сожалению, большинство неученых стихов до нас не дошло: те, кто умел хранить стихи, не были заинтересованы в том, чтобы хранить и эти. Но кое-что все-таки попало и в наши руки.

Не все неученые поэты вышли из народных кругов. Были среди них и принадлежавшие к буржуазии, но они или опустили и деклассировались, или, предпочитая слагать стихи понятным языком, объединялись в борьбе против ученого направления с поэтами из народа, которые боролись против него по социальным мотивам. Кое-кого ученые поэты считали достойными обмена тенционами или какого-либо иного поэтического состязания. Среди них флорентинец Гвидо Орланди и сиенцы Фольгоре да Сан Джиминиано и Чекко Анджольери были самыми крупными.

Фольгоре бесхитро и простым языком воспевал радости жизни, самые понятные и всем доступные: не только любовь, но наряды, еду, напитки, игру. И ничего не нужно было объяснять. Все было ясно без сложных комментариев. Чекко Анджольери, самый даровитый из тех, чьи стихи нам известны, был человек удивительно своеобразный. Его отец был богатый купец, скупой и благочестивый. Он не давал ему денег, мучил

постами и молитвами и женил на девушке очень добродетельной, но чрезвычайно уродливой. Чекко, который терпеть не мог благочестивых подвигов и безобразных женщин, сбежал из дому и стал быстро опускаться на дно. Он жалил своими сонетами кого попало, между прочим и Данте, а больше всего виновников своих злоключений, отца и мать. Стихи его насыщены диким бунтом, проклятиями всему, что олицетворяет порядок, и ненасытной жаждою радости. Его идеалом была троица: женщина, кабак и кости. Его Беатриче звалась Беккиною и была дочкой сапожника. Она доставляла ему много огорчений своими изменами, но и много радостей, отнюдь не мистических. О тех и о других Чекко сочно и красочно рассказал в своих сонетах. Но не эти стихи лучшие в его лире, а те, в которых он гремит вызовами миру и человечеству. Вот один сонет, едва ли не самый типичный:

Будь я огнем, весь мир бы я спалил.
Будь ветром, я его бы разметал,
Будь я водой, его б я затопил,
Будь богом я, его бы в ад послал.
Будь папой, я бы тогда возликовал
И всех бы к покаянию присудил.
А если б императором я стал,
Что б сделал? Всех бы я казнил.
Будь смертью, я отца бы навестил,
И к матери охотно завернул;
Будь жизнью, я бы к ним не заглянул,
Будь Чекко, я беспечно бы любил:
Себе бы взял красавиц молодых,
А старых бы оставил для других.

Б.

В полемике с Данте по поводу последнего сонета «Новой жизни» он упрекает его в противоречии:

Итак, противоречье
Несет в себе твое стихотворенье.

И играет словами *sottile parlare*, «утонченная речь», взятыми из дантова сонета, замысловатой аллегории которого он совершенно не понял, ибо не мог знать объяснений поэта^[6].

Это *sottile parlare* было главным пунктом обвинения и в полемике наиболее принципиального из поэтов-реалистов Гвидо Орланди против Гвидо Кавальканти.

От тонкости чрезмерной нитка рвется.

Э.

Поэты-реалисты ратовали за понятную речь, за простой язык, против чрезмерной учености, делающей стихи недоступными большинству и превращающей поэтов в замкнутую аристократическую касту. Ведь заумность и нарочитая темнота поэтического творчества в медовый период *dolce stil nuovo* была репетицией гуманизма как общественно-культурного явления. Тенденция тут и там была одинаковая. Образованные люди — особая республика лиц привилегированных и высших, которые одни имеют право быть носителями идеалов, одни имеют право нести проповедь в общество. Различие лишь в том, что здесь орудием обособления была темная, перегруженная философскими терминами стиховая речь, а там — латинский язык.

Главным представителем этого направления во флорентийской поэзии был Гвидо Кавальканти, а самым типичным его произведением — канцона «*Donna mi prega per ch'io voglio dire*». Женщина просит поэта, чтобы он сказал ей, что такое любовь, и Гвидо наговорил столько и с такой потрясающей ученостью, что его канцону без конца комментировали самые разные люди, в том числе знаменитый канцонист Эгидий Колонна и не менее знаменитый врач Дино дель Гарбо, оба на латинском языке. В заключительных стихах Гвидо, словно обрадовавшись, что довел до конца такое тяжелое дело, говорит: «Иди, моя канцона, куда тебе захочется. Я тебя украсил так, что тебя всегда будут хвалить все, кто способен разуместь. До остальных тебе нет дела».

Это главное: писать только для тех, кто способен понять и оценить все философские глубины. И считать, что остальных как бы не существует. Ибо Гвидо Кавальканти отлично умел писать языком, понятным для всех. Доказательство тому множество сонетов, в том числе прелестный «*Avete n'voi li fiori e la verdura*». «Есть в вас и листья и цветы». Данте ведь недаром

говорил про него, что он отнял у «другого Гвидо» «славу языка», т. е. первенство на поэтическом поприще.

Заветам Гвидо Гвиницелли никто не следовал по-первоначальному с таким талантом, как Гвидо Кавальканти. Именно он создал школу во Флоренции. Вокруг него стали собираться единомышленники и друзья. В конце 70-х годов XIII века — Гвидо Гвиницелли умер в 1276 г. — уже шли победоносные бои со школою Гвиттоне и вырабатывалась основная социальная установка. В 1283 г., в год появления белой дружины, синьором которой был Амор, вступил в кружок Гвидо и Данте Алигиери, которому исполнилось восемнадцать лет. Вступил робким учеником, чтобы быстро вырасти в первоклассного мастера. Что привело его туда?

6

«С годами разгорался любовный огонь так, что ничто другое не доставляло ему ни удовольствия, ни удовлетворенности, ни утешения: только созерцание ее. Вследствие, этого, забыв обо всех делах, весь в волнении, шел он туда, где надеялся ее встретить. Словно от лица и от глаз ее должно было снизойти на него всякое благо и радость душевная. О, неразумное соображение влюбленных! Кто кроме них будет думать, что если подбросить хворосту в костер, пламя станет слабее?»

Это, конечно, опять из боккаччевой биографии Данте, и опять рассказ новеллиста несколько не противоречит признаниям «Новой жизни», хотя там они окутаны аллегорией и мистическим туманом. Пора поэтому заняться вопросом, кто была Беатриче. Прав ли был Боккаччо, называя ее дочерью Фолька Портинари, или он допустил тут романическую вольность, исказившую факты? Еще не так давно об этом шли горячие споры. Теперь все выяснено, все проверено, ничто не вызывает ни сомнений, ни споров. Нужно только собрать факты.

Около 1360 г., лет через 35 после смерти Данте, сын его Пьеро Алигиери, веронский судья, составлял латинский комментарий к отцовской поэме. В примечаниях ко II песне «Ада» он записал: «Так как здесь впервые упоминается Беатриче, о которой говорится столь пространно гораздо ниже, в III песне «Рая», следует предуведомить, что дама по имени Беатриче, очень выдающаяся образом жизни и красотой, действительно жила во времена сочинителя в городе Флоренции и происходила из семьи неких граждан Портинари. Пока она была жива, Данте был ее поклонником, влюбленным в нее, и написал много стихов для ее

восхваления, а когда она умерла, то, чтобы восславить имя ее, он пожелал вывести ее в этой своей поэме под аллегорией и в олицетворении богословия». Подлинность комментария Пьеро Алигиери не возбуждает теперь никаких сомнений, и особенно приходится подчеркнуть, что его сведения и сведения Боккаччо, несколько более поздние, друг от друга не зависят: два разных источника сходятся в установлении личности Беатриче. Поиски в архивах Флоренции помогли выяснить все о ней самой и о ее семье.

Было найдено завещание Фолько Портинари, отца Беатриче, составленное 15 января 1288 года, в котором он перечисляет всех своих детей. У него было пятеро сыновей: Манетто, Риковеро, Пиджелло, Герардо, Якопо, из которых трое последних — малолетние; четыре дочери незамужних: Вана, Фиа, Маргарита, Касториа, и две замужние: мадонна Биче, за Барди, и умершая уже мадонна Равиньяна, бывшая за Фальконьери. Фолько умер, как свидетельствует надпись на его гробнице, 31 декабря 1289 года. Эти сухие данные пополняются другими, которые под этими голыми именами обнаруживают живых людей.

Портинари были первоначально дворянами и гибеллинами. Они занялись торговлею во Флоренции, разбогатели, стали пополами и гвельфами: это случалось, мы знаем, со многими. Фолько был настолько видным гражданином, что попал и в число четырнадцати членов смешанной коллегии, созданной кардиналом Латино, и в приоры первого года. Он был из тех гвельфов, которые, происходя от феодалов и памятуя о былых гибеллинских традициях в семье, относились терпимо к гибеллинам и позднее стали «белыми»: как Алигиери. Недаром Фолько был близким другом и компаньоном Вьери деи Черки. Но чтобы поддержать тенденции гражданского мира, Фолько, как и другие, старался при помощи браков создать дружественные отношения с членами других групп. Брак обеих его дочерей преследовал эти цели. Биче была выдана за Симоне деи Барди, члена богатой банкирской семьи, хотя вышедшей из феодальной знати, но в своем гвельфизме непримиримой: в будущем Барди примкнул к «черным». Равиньяна была выдана за Бандино Фальконьери, чистокровного попола, одного из будущих вождей «белых». Фолько был очень гуманный человек. Значительную часть своего состояния он тратил на благотворительные дела. Им, между прочим, основан монастырь-госпиталь Санта Мариа Новая, позднее — арена лучших художественных достижений Андреа дель Кастаньо.

О дочери его, помимо того, что сказал о ней Данте, мы знаем мало. В 1288 году она была замужем. С какого года — нам неизвестно. Быть может,

брак, как многие политические браки, был заключен, когда и жених, и невеста находились в детском возрасте. Муж ее, мессер Симоне ди Джери деи Барди, прошел карьеру довольно обыкновенную. Беатриче умерла 19 июня 1290 года, как об этом свидетельствует Данте. Так как она была всего на несколько месяцев моложе Данте, то в момент смерти ей было всего около двадцати пяти лет.

В 1283 году, в год «белой дружины», в год, когда Беатриче, тоже вся в белом, — быть может и она входила в дружину — «в неизреченной своей милости» поклонилась ему, Данте написал первый свой сонет и стал поэтом. В 1290 году, когда она умерла, он — не начинающий поэт, а вождь всего направления — сложил ряд стихотворений, оплакивающих погибшую, и потом собрал воедино все те стихи, ей посвященные, которые он считал достойными ее памяти, связал их объяснениями и сделал книгу поэзии и прозы, которую назвал «Vita nuova», «Новая жизнь». Эти восемь или девять лет — период юности Данте — пора его любви, время его дебютов как гражданина, годы его поэтических взлетов.

В «Новой жизни» 24 сонета, 5 канцон и одна баллада. Каждое из стихотворений сопровождается объяснениями, и все они от первого до последнего связаны нитью воспоминаний. Это — поэтическая история любви Данте, первая в новой литературе автобиография ликующей и страдающей души. Поэзия «Новой жизни» вначале целиком пропитана философией. Данте примкнул к новой школе, заимствуя ее наиболее типичные особенности у двух ее вождей: у Гвидо Гвиницелли возвышенный мистический замысел, у Гвидо Кавальканти изощренность созерцания и глубину чувства. Но постепенно он научился вкладывать в свою поэзию то, чего его предшественники не могли ему дать и что было его собственным вкладом: правду переживаний, умение художественно раскрыть действительную, ненадуманную страсть, мастерство слова, пластичность образов. Он сам рассказал в одной терцине историю «сладостного нового стиля» («Чист.», XI, Г.).

Так отнял первенство в искусстве слова
У Гвидо Гвидо. Но теперь рожден.
Кто сгонит с гнезда того, как и другого.

И недаром эта терцина следует в поэме непосредственно за другой, где говорится, что в живописи вождем сначала был Чимабуэ, а потом первенство отнял у него Джотто. Параллель полная и гораздо более

широкая, чем раскрыл ее скупой лаконизм «Комедии». Живопись и поэзия в Италии возродились, отталкиваясь от чужеземных образцов: живопись — от византийских, поэзия — от провансальских. И, прежде, чем прийти во Флоренцию, та и другая имели промежуточный этап: живопись в Риме (Пьеро Каваллини), поэзия в Болонье (Гвидо Гвиницелли). А во Флоренции до решительного взлета была еще ступень: у живописи — Чимабуэ, у поэзии — Гвидо Кавальканти. Потом — двуглавая снеговая вершина искусства: Джотто и Данте. Сойдясь на высоте, они стали друзьями, хотя квалификация искусства, представленного каждым, в обществе была разная. Живопись была ремеслом и живописец был ремесленником. Он добывал себе пропитание палитрой и краской, расписывая церкви и дворцы, изображая библейских и новоцерковных святых. Поэт ничего не добывал своими стихами. Доходы свои он получал, как купец, как банкир, как помещик, как нотариус, как судья. Живопись была искусством для хлеба, поэзия была искусством для себя и для избранных. За фрески платили или богатые купцы, или богатые корпорации, а любовались картинами все. За стихи никто не платил и понимали их немногие. Данте мог считать равным себе одного только Джотто, да и то потому, что сам он был великий художник, способный оценить гений родоначальника новой живописи. Как профессиональные группы, живописцы и поэты не сойдутся еще долго. Первые будут медленно освобождаться от классово-бытового ремесленничества, вторые столь же медленно будут спускаться к низинам гонимого существования.

Данте, когда почувствовал потребность творить, запел сразу в тон с обоими Гвидо. Его первые стихи были нескладные, вычурные, темные, но с такой подлинной искрой, что все насторожились: кто радостно, кто ворчливо.

В первом своем сонете Данте рассказал про тот сон, который приснился ему после ласкового поклона Беатриче.

Чей дух пленен, чье сердце полно светом.
Всем тем, чей взор сонет увидит мой,
Кто мне раскроет смысл его глухой,
Во имя Господи — Любви — привет им.
Уж треть часов, когда дано планетам
Сиять сильней, свершили жребий свой, —
Когда Любовь предстала предо мной
Такой, что страшно вспомнить мне об этом.
В весельи шла Любовь, и на ладони

Мое держала сердце, а в руках
Несла мадонну, спавшую смиренно:
И пробудив, дала вкусить мадонне
От сердца, — и вкушала та смятенно.
Потом Любовь исчезла, вся в слезах.

Э.

Этот сонет очень типичен для стихов, написанных в первые годы творчества и включенных в «Новую жизнь»: было ведь немало и таких, которые в нее не попали. В них воспевается любовь, но особенная. Это — неземное чувство. Она вызывает не плотское влечение, а трепет таинственной радости. В ней говорит не здоровый инстинкт, а заумная выдумка. Природа ее лучше всего раскрывается в таинственных снах и в аллегорических образах.

Сонет был послан трем поэтам, с просьбою ответить на него и истолковать видение. Это были Данте да Майано, Гвидо Кавальканти и Терино да Кастельфьорентино. Вопреки прежнему мнению, среди получивших его не было Чино да Пистойя, который был в то время тринадцатилетним мальчиком. Терино ответил, что ничего не понимает. Данте да Майано разразился грубым сонетом, в котором советовал молодому тезке прочистить желудок и прогнать ветры, которые заставляют его бредить. Старший Данте был поэт гвигтоновой школы и думал отыграться, издеваясь над юным отпрыском новой; позднее он смирится. Гвидо, стараясь понять аллегорию, радостно приветствовал в юноше брата не только по искусству, но и по таланту. Данте был в таком восторге от сонета Гвидо, горячо им почитаемого, что сделался его преданным другом: «Среди ответивших, — говорит он, — был тот, кого я называю первым из своих друзей. Он сложил тогда сонет, который начинается: «Всю ценность видел ты...» И он стал началом дружбы между ним и мною, когда ему стало известно, что стихи послал ему я». Таков был первый результат того, что Данте «научился самостоятельно искусству говорить слова рифмуя».

Жизнь Данте изменилась коренным образом. Он только что выступил в первый раз и на деловом поприще: ликвидировал небольшую отцовскую

закладную, как совершеннолетний расписался у нотариуса в получении долга. И вступил в свет. С таким ментором, как Гвидо Кавальканти, одним из первых кавалеров в городе, это было нетрудно. В его стихах, особенно позднейших, мы находим сколько угодно доказательств того, что все виды светских удовольствий были ему хорошо знакомы: охота — и псовая и соколиная, танцы, музыка, дамское общество. Но центром его внимания была Беатриче, благороднейшая.

Биче Портинари в «*Vita nuova*» живет двойной жизнью: как реальная женщина и как объект поэтического обожания. Трудно провести грань между двумя образами и распределить между ними с полной уверенностью весь материал. Тем более, что, составляя книгу в период острого горя по умершей, Данте выбросил из нее все стихи, где звучала в какой-нибудь мере радость, радость от отклика в любви, радость от надежды, радость просто от того, что ликовала в душе двадцатая или двадцать первая весна. Книга подобрана вся в нужной аллегорической стилизации. Ничего лишнего. Все стройно облекло основную поэтическую мысль. И все-таки живая женщина, то ласковая, то гневная, то насмешливая, то убитая горем, проступает на каждом шагу из-под творимого условного образа, вопреки стихам, стилизующим его в определенном направлении. И она очень близка к боккачеву «новеллистическому» образу, что бы ни говорили биографы-агиографы «божественного певца».

Любовь охватила юношу с такой силой, что он только и мог думать о Беатриче. Он исхудал, стал на себя непохож и в ответ на вопросы друзей, по ком он так страдает, смотрел на них со светлой улыбкой и не отвечал ничего. А чтобы еще лучше скрыть имя своего предмета, придумал защитный маневр. Когда однажды в церкви он любовался издали Беатриче, дама, стоявшая между ними, решила, что его нежные взгляды относятся к ней. То же подумали и другие. Чтобы укрепить их в этом мнении, Данте посвятил даме стихи и стал ее поклонником. Чувства его раздвоились: Беатриче сохранила, конечно, свое почетное место, и ей принадлежали все возвышенные любовные восторги. Но более реальную нежность, повидимому, он питал к «даме-ширме» (*donna, che era schermo di tanto amore*), которая эту нежность, повидимому, охотно принимала. В это время Данте написал сирвенту, стихотворение по старому образцу, терцинами, где перечислял шестьдесят самых красивых дам Флоренции. Беатриче принадлежало там мистическое девятое место, а среднее, тридцатое, самое почетное, было отведено другой даме, к которой влекли поэта чувства, отнюдь не мистические. В сонете, обращенном к Гвидо Кавальканти и не включенном в «Новую жизнь», — «*Guido, io vorrei, che tu*

е Laro ed io», «О, Гвидо, если б Лапо, ты и я» (Э), — он говорит, что хотел бы вместе с обоими друзьями — Лапо только что стал «в союзе третьим» — быть перенесенным на волшебный корабль, который носился бы по морю, покорный их желаниям.

И мона Ванна с моной Ладжей к нам,
А с ними дама, что стоит тридцатой,
Принесены бы были добрым чародеем.

Мона Ванна — это Примавера, возлюбленная Гвидо. Мона Ладжа — дама Лапо. Тридцатый номер значит — предмет Данте, и она как две капли воды похожа на «даму-ширму». Эта первая «ширма» стояла, заслоня Беатриче, «несколько лет и месяцев». Потом дама уехала «в далекие края» и унесла с собою холодок в отношениях к Беатриче. Поэта снова потянуло к «благороднейшей», и он принял участие в ее горе, оплакав двумя сонетами ее умершую только что подругу. Но игра в ширму так ему понравилась, что ему захотелось продолжения. Однажды ему случилось уехать из города вместе со многими, — повидимому, это был один из походов, — ему было тягостно, потому что его грызла тоска по Беатриче. И явился ему Амур, который сказал, что первая его дама не вернется, что ему нужно заместить ее другой. И назвал имя. Когда Данте вернулся, он так рьяно стал оказывать внимание этой новой «даме-ширме», что, вопреки всяким условностям и куртуазным обычаям, Беатриче была задета. Встретившись однажды с поэтом, она не ответила на его поклон. Это было неслыханное унижение, и оно произвело полный переворот в душе поэта. Он сразу порвал с дамой и с этих пор отдался исключительно любви к Беатриче. Наступило какое-то внутреннее очищение, сопровождавшееся настоящим взрывом поэтического гения.

Натура была бурная и страстная. Два увлечения, одно за другим, из которых первое привело, повидимому, к продолжительной связи, сформировали мужчину. Он научился любить не только поэтическими образами, как до сих пор любил Беатриче, но настоящей реальной любовью, непобедимым стремлением к предмету страсти, разделяемым другой стороной. Когда он решил порвать со второй дамой-ширмой, вся сила его чувства сосредоточилась на Беатриче. До сих пор был, с одной стороны, поэтический маскарад, отголоски провансальской куртуазной игры в любовь, а с другой — серьезные увлечения, превратившие юношу в мужчину. Рядясь в куртуазные костюмы, юный поэт воспевал даму сердца

по последнему слову провансальской поэтической моды, по ладам обоих Гвидо и его поэтические дебюты сделали его родным Гвидо Кавальканти. И только третий Гвидо — скептик и насмешник, человек другого класса — Гвидо Орланди, слегка издевался над новичком, так старательно подражавшим его тезке.

Теперь все изменилось. На любовь поэтическую легла любовь живая. Первая облагородила вторую, вторая напоила первую горячей кровью. И такими новыми песнями зазвучала лира, что увяли сразу лавры на поэтическом венке Гвидо Кавальканти. Одним могучим прыжком ученик обогнал учителя.

Первым плодом этого нового настроения были баллада, единственная в «Новой жизни». Данте ее написал и дал переложить на музыку. Она должна была вымолить ему прощение Благороднейшей. Баллада должна была ей сказать:

Мадонна, тот, кто к вам послала меня,
Взывает, да посмею
Его защитницей пред вами быть:
Ведь то Любовь стремится изменить
Его черты пред вашей красотой,
Любовь велит склониться пред другою, —
Прост умысел, и сердце верно вам.

Э.

Но сердце ныло. Не было уверенности, что он будет прощен. Двоилось все, и полная растерянность охватывала поэта. Его жалобы звучат с такой тоской, словно они родились не в Дудженто ^[7], а в наши дни.

За кем идти, увы — не знаю я.
Хочу сказать, но что сказать, не знаю.
Так средь Любви мне суждено блуждать.

Э.

Однажды, все еще страдая от отказа Беатриче поклониться ему, полный смятения, Данте попал на пирушку, приведенный другом, и когда

увидел в числе собравшихся дам Беатриче, был так смущен, что должен был прислониться к расписанной фресками стене. И дамы, глядя на него, смеялись. И Беатриче принимала участие в насмешке. Это было все. Поэт не выдержал, убежал и вслед за тем написал один за другим три сонета, в которых пытался осмыслить свое состояние. Сонеты, очевидно, сейчас же становились известны, и поэтические страдания Данте перестали быть тайною для тех, кого занимали вопросы поэтического служения даме. Поэтому, когда однажды он проходил по улице, его окликнули и пригласили войти дамы, собравшиеся у подруги. Беатриче среди них не было. Поэт заметил это сейчас же и приободрился. У него стали спрашивать о причинах его грусти. Он не скрыл причины и прибавил, что теперь все его блаженство заключается в тех словах, которыми он славит свою Госпожу. На это ему было строго замечено: «Если бы ты говорил правду, то в словах, которые были сказаны тобою, когда ты раскрывал свое состояние, был бы иной смысл». И Данте ушел, «как бы пристыженный». Почему? Что было в темном упреке дамы такого, что могло так устыдить его? То, очевидно, что его горе по поводу отказа в поклоне и огорчение по поводу насмешки выдало чувство гораздо более живое, чем позволял куртуазный обычай. Данте нарушил поэтические приличия, допустив, чтобы его стихи раскрыли его душу больше, чем это было можно. И, уходя, он думал: «Если в славословии Госпожи моей столько блаженства, почему я говорил о другом?» Плодом этого раздумья было то, что отныне его стихи будут только петь хвалу Благороднейшей. Вскоре после этого он проезжал верхом по берегу некоей реки, и вдруг почувствовал, что у него в голове зародились совсем новые рифмы и слова особенного значения. То была канцона «Donne, che avete l'intelletto d'amore», о которой спрашивал у него в «Чистилище» Бонаджута из Лукки. центральное стихотворение «Новой жизни».

Это настоящая осанна внутренней красоте любимой женщины. Как торжественный хорал звучат стихи, изображающие ее воздействие на людей:

Пред кем пройдет, красой озарена,
Тот делается благ или умирает.
Кого она достойным почитает
Приблизиться, тот счастьем потрясен.
Кому отдаст приветливо поклон,
Тот с кротостью обиды забывает.
И большую ей власть Господь дает:

Кто раз ей внял — в злодействе не умрет.

Э.

В канцоне много гвинецеллиевых мотивов, но обработаны они совсем по-новому, очень лично и доведены до такого мастерства в стиховой технике, до какого никогда не поднимался *dolce stil nuovo*. И Данте, словно почувствовав, чем он обязан болонскому поэту, начал следующий сонет ссылкой на него: «Amore e cor srentil sono una cosa». Это почти цитата из Гвинецелли:

Благое сердце и Любовь — одни
Вещает нам Мудрец в своем твореньи.

Э.

Мудрец *il saggio* — то же, что поэт, и этот поэт — Гвинецелли.

Уже наступил 1289 год, такой богатый событиями в жизни Данте: и внешними, и внутренними. В Тоскане уже много лет шевелились гибеллины, осмелевшие вследствие неудач анжуйцев на юге: Карл I умер в 1284 году, и венец его оказался тяжел для сына его. Ареццо, старое гибеллинское гнездо, полное «шавок, злобных не по росту» («Чист.», 14), вздумало, подстрекаемое гибеллинами-эмигрантами, задирать флорентинского льва. Вспыхнула война. Флоренция призвала своих граждан, и Данте надел вместе с другими шлем и панцирь. Больше: он вступил в отряд из 150 конников, набранный Вьери деи Черки среди буржуазии своего квартала, готовившийся первым напасть на неприятеля и первым принять его удар. Этот поход и участие в нем Данте описаны по его письму, до нас не дошедшему, гуманистом Леонардо Бруни в биографии (итальянской) поэта. «В этом сражении, великом и славном, при Кампальдино, он, молодой еще и пользовавшийся уважением, принял участие, храбро сражаясь верхом в передовом отряде, и подвергся огромной опасности. Ибо первыми столкнулись конные отряды, и

аретинцы с такой стремительностью напали на флорентинцев, что сразу их опрокинули, и они, разбитые и рассеянные, должны были бежать к пехоте. Это поражение было причиной, что аретинцы проиграли сражение. Ибо их конница, в пылу победы преследуя бежавшего неприятеля на далекое расстояние, оставила позади свою пехоту. Поэтому уже в этот день им ни разу не пришлось сражаться вместе: конница билась одна без помощи пехоты, пехота — одна без помощи конницы. А флорентинцы — наоборот: так как конница в бегстве соединилась с пехотой, то обе части оказались вместе и без труда разбили сначала конницу противника, потом пехоту». Бой был решен находившимся в засаде отрядом Корсо Донати, который напал на аретинцев с фланга и спас таким образом будущего своего заклятого врага Вьери деи Черки и свою будущую жертву Данте Алигиери.

Флорентинцы попробовали овладеть Ареццо, но тщетно. Им пришлось удовлетвориться тем, что они заставили сдаться замок Капрону, недавно захваченный аретинцами. В этой осаде тоже участвовал Данте, которых покрыл себя двойной славой.

Победа над гибеллинами сразу принесла плоды. Очистились дороги, оживилась торговля. Джованни Виллани радостно занес в свою хронику: «От вышеозначенной победы город Флоренция очень возвысился и достиг прекрасного и счастливого положения, лучшего, в каком он был вплоть до этого времени. В нем очень увеличилось и население, и богатство, ибо всякий наживал всевозможной торговлей, ремеслами и занятиями. Так он продолжал жить в мирном и спокойном состоянии многие годы, поднимаясь с каждым днем. И по случаю радости и хороших дел ежегодно в день первого мая составлялись дружины и компании благородных молодых людей, одетых во все новое, которые устраивали шатры, покрытые сукнами и легкими материями и огороженные досками во многих местах города. То же делали дамы и девушки. И ходили по всему городу с пристойными плясками, соединившись с дамами, с музыкой и с венками из цветов на головах, в играх и в веселье, сходясь на пиры и вечеринки».

На этот раз мессер Джованни разглядел наконец и венки. Очевидно, их было так много, что не разглядеть было невозможно. Недаром и Данте приписывают относящуюся к этому времени балладу «К венку», где говорится:

Из цветов словечки новые мои
Сплели балладу,
И в них, шутя, наряд такой нашли,

Какой никто еще не получал в награду.

Но тот же Виллани отмечает и факты иного порядка: «Вернувшись из похода, пополаны стали тревожиться, что дворяне, возгордившись победой, начали нажимать на них больше обыкновенного. Поэтому семь старших цехов присоединили к себе пять следующих и стали промежду собою готовить оружие, щиты и особые значки, и это было началом тех перемен в конституции города, которые привели к устройству 1292 года»...

Классовые противоположности не смягчались. «Прекрасное и счастливое состояние» понижалось какой-то смутной тревогой, а отовсюду приходили вести важные и трагические. В этом самом 1289 году в Пизе епископ Руджери приказал бросить в тюрьму недавнего правителя города графа Уголино делла Герардеска вместе с двумя сыновьями и двумя внуками и уморил их там голодом. И тоже в этом 1289 году Джанчотто Малатеста, синьор Римини, застал жену, Франческу, с братом своим Паоло и тут же заколол обоих собственноручно. А в самой Флоренции Данте ожидало потрясение не столь трагическое, но сильно его задевшее. Умер старый Фолько Портинари, отец Беатриче, «добрый в высокой степени».

Беатриче была в отчаянии. «Согласно обычаю указанного города, женщины собираются с женщинами, а мужчины с мужчинами, чтобы совместно отдаться горю. И теперь многие женщины собрались там, где эта благороднейшая Беатриче, как любящая дочь, проливала слезы». Данте был с мужчинами, видел, как из комнаты, где была Беатриче, выходят дамы, слышал, как они передавали ее слова и говорили друг другу про нее. И ему стало так грустно, что у него скатывалась по щекам слеза: он должен был закрывать рукою глаза, чтобы это не было заметно. Чувство к даме было настолько сильное и настолько живое, оно так переросло все поэтические условности, что всякое горе Беатриче превращалось для Данте в его собственное горе. Вскоре после смерти Фолько поэт заболел, и в горячечном бреду ему привиделось, будто Беатриче умерла. И это сопровождалось явлениями сверхъестественными и страшными. Гасло солнце, звезды окрашивались таким цветом, что ему казалось, будто они плачут, птицы падали на землю мертвыми, сотрясалась земля. Сестра, сидевшая у его изголовья, слыша бессвязные слова и плач сквозь бред, в дикой тревоге звала на помощь. Но Данте выздоровел и рассказал весь эпизод в канцоне «Donna pietosa» («Сострадательная дама»).... Потом кончилась зима, наступили весенние дни, возобновился майский праздник, и Данте увидел Беатриче вместе с моной Ванной, Примаверой Гвидо

Кавальканти, разговаривал с ними и написал по поводу такого счастливого события сонет. Весна этого 1290 года вообще начиналась чудесно. Биче, повидимому, была более милостива к нему, чем когда-нибудь, и он был в экстазе. Лучшие сонеты «Новой жизни» написаны были в это время, в том числе прекраснейший из всех «Tanto gentile e tanto onesta pare».

Столь благородна, столь скромна бывает
Мадонна, отвечая на поклон,
Что близ нее язык молчит, смущен,
И око к ней подняться не дерзает...

Э.

Сонеты не вмещали всей полноты чувства. Поэт принялся за канцону и написал уже первую строфу. Но тут Беатриче умерла, умерла по-настоящему, не в видении, не в бреде. Ушла из жизни Данте.

«Ее смерть повергла Данте в такое горе, в такое сокрушение, в такие слезы, что многие из его наиболее близких родственников и друзей боялись, что дело может кончиться только смертью. И думали, что последует она в скором времени, ибо видели, что он не поддается никакой поддержке, никаким утешениям. Дни были подобны ночам и ночи — дням. Из них ни одна не проходила без стонов, без вздыханий, без обильных слез. Глаза его казались двумя обильнейшими источниками: настолько, что многие дивились, откуда берется у него столько влаги, чтобы поддерживать слезы... Плач и горе, ощущавшееся им в сердце, а также пренебрежение всякими заботами о себе, сообщили ему вид почти дикого человека. Он стал худ, оброс бородою и перестал совсем быть похожим на прежнего. Поэтому не только друзья, но всякий, кто его видел, взирая на его наружность, проникались жалостью, хотя, пока длилась эта жизнь, полная слез, он показывался мало кому, кроме друзей».

Так продолжает дантову биографию Джованни Боккаччо. Данте вылил свою грусть гораздо более убедительно в канцоне «Gli occhi dolenti».

Устали очи, сердцу сострадаю,
Влачить тоски непоборимый гнет...
Унынье слез, неистовство смятенья
Так неотступно следуют за мной,
Что каждый взор судьбу мою жалеет.

Какой мне стала жизнь с того мгновенья,
Как отошла Мадонна в мир иной.
Людской язык поведать не сумеет.
Вот отчего, о донна, речь немеет,
Когда ищю сказать, как стражду я.
Так горько жизнь меня отяготила.
Так радости лишила,
Что встречные сторонятся меня,
Приметив смерть, что мне уста покрыла.

Э.

Эти стихи, полные надрыва, слегка утолили горе поэта. В них он назвал свою даму по имени: Беатриче. Впервые. Право на это он почерпнул из величия своей печали и из чистоты своего чувства. Близкие Беатриче оценили и стихи, и ощущения, их продиктовавшие. К Данте пришел брат умершей, «второй по степеням дружбы» — первым был ведь Гвидо Кавальканти — и попросил, чтобы поэт сложил стихи в память женщины, недавно отошедшей в другой мир. Данте, делая вид, что не понимает, о ком речь, согласился. Сочувствие друзей, что бы ни говорил Боккаччо, очень его поддерживало и было ему дорого, особенно со стороны одного. Чино да Пистойя, который еще не был знаком с Данте, прислал ему канцону соболезнования, в которой процитировал ряд его стихов. Это положило начало и знакомству, и дружбе. Но душа поэта требовала и другой поддержки, более нежной. И нашла его.

Однажды, — уже прошло больше года после смерти Беатриче, — когда, вырвавшись из власти печальных дум, Данте в своей комнате поднял глаза, он увидел в окне насупротив благородную даму, молодую и очень красивую, которая смотрела на него с величайшим состраданием. Это та, которая зовется дамою из окна (*la donna della finestra*), сострадательной дамой (*la donna pietosa*), благородной дамой (*la donna gentile*). Имя ее было Лизетта. В благодарность за сочувствие Данте послал ей сонет, потом другой — теплее, третий — с размышлениями, четвертый — совсем горячий, с объяснениями в любви. Это — третья дама в «Новой жизни». Первые две были «ширмы». С ними он изменял живой Беатриче. С нежной Лизеттою он изменил мертвой. И, быть может, за девять или десять лет, прошедшие от встречи с Беатриче, поклонившейся ему, до написания «*Vita nuova*», были и другие. В сонетах, не попавших в «Новую жизнь», в

позднейших стихотворениях, в «Комедии» есть намеки на это. Во всяком случае, роман с «дамою из окна» длился недолго. Поэт устыдился, что забыл Беатриче, и вернулся к воспеванию ее памяти, бросив пятым сонетом слова прощанья Лизетте. Ему уже виделись надзвездные сферы, где пребывает в блаженстве душа Беатриче и куда несутся его вздохи, посылаемые сердцем. Про это видение он сказал еще в последнем сонете своей «книжицы». Но следом за этим его посетило еще одно «чудесное виденье» и были в нем такие вещи, что он решил не говорить о Беатриче ничего, пока не найдет слов, более достойных ее. «Для этого я учусь, сколько могу, как она достоверно знает об этом. И если будет воля Того, кто дает жизнь всему, и жизнь моя продлится еще на несколько лет, я надеюсь сказать о ней такое, что никем и никогда не было сказано»...

В голове поэта шевелились уже образы, которым нужно было дать больше идейной насыщенности, чтобы они сделались образами «Комедии». Для этого он и будет «учиться».

Первый сонет «Новой жизни» написан в 1283 году. Беатриче умерла 9 июня 1290 года. События, случившиеся через год после ее смерти и позднее, включены в «книжицу». Отношения с Лизеттой не могли продолжаться меньше нескольких месяцев. Следовательно, «*Vita nuova*» написана в конце 1291 или в начале 1292 года. Способ, каким книга сделана, совершенно ясен. Данте собрал из своих стихов периода 1283–1291 годов, которые он считал наиболее тесно связанными с Беатриче и наиболее достойными ее памяти, расположил их в хронологическом порядке и связал поясняющей прозой, тщательно избегая всяких точных дат и вообще всяких сколько-нибудь определяющих указаний, не называя никого по имени, только намекая на события, давшие повод к тому или другому стихотворению и снабжая каждое формальным комментарием.

Несмотря на нарочитую скудность фактического материала, «Новая жизнь» сообщает, как мы видели, много данных для внешней и внутренней биографии Данте. Нам остается рассмотреть, как отражается в ней картина его роста как поэта.

Когда Данте написал сонет «*A ciascun' alma presa*», его направление было ясно. Он был последователь Гвидо Гвиницелли, его «высокого» поэтического стиля и кроме того сторонником философской устремленности и аристократичности Гвидо Кавальканти. И был учеником,

едва надеявшимся не провалиться на экзамене. За нарочитую приверженность к смутной символике он был грубо обруган Данте да Майано — мы это знаем. Но был одобрен и обласкан Гвидо Кавальканти, который вскоре сделался «первым» его другом. Он пошел за ним, как апостол, стараясь ступать точно на след его ноги, копируя его настроение: благо и ситуация была подходящая. У Гвидо была дама сердца, мона Ванна, по-поэтическому Примавера. Весна. У Данте была дама сердца, мона Биче, по-поэтическому Беатриче. Куртуазная любовь не обязывала ни к чему, кроме стихов. И Данте писал стихи. Десять первых сонетов «Новой жизни» отмечены печатью школы и не отмечены никакой личной печатью.

Круг поэтов ширился. Подошел Лапо Джанни, молодой нотариус, не очень даровитый поэт. Если Данте без труда равнялся с Гвидо в поэтическом соревновании, то Лапо воробьиным скоком едва поспевал за поэтическим полетом обоих друзей. Его стихи были не более, как перепевом их мелодий. Своего у Лапо было мало. Но это не мешало всем троим быть очень близкими. У Лапо, конечно, тоже была дама, мона Ладжа, и мы знаем, какие идиллии рисовал себе Данте, представляя себя с двумя друзьями и тремя дамами путешествующими на волшебном корабле, вдали от забот и неприятностей здешнего мира. Столь же мало оригинальным был и следующий член кружка, Дино Фрескобальди, сын банкира и большой фронт. Он только особенно привязался к одному из мотивов поэзии Кавальканти, к теме о смерти. В его стихах все время настойчивым рельефом выделяется мрачный образ дамы, призывающей смерть на своего возлюбленного. Талантливее, чем Лапо и Дино, был более молодой член содружества, Джанни Альфани. Он тоже шел за Гвидо и за Данте, но в его перепевах было больше оригинальности. Он был изгнан из Флоренции за какие-то провинности до смерти Кавальканти (1300), много странствовал по свету, и в его стихах отражается стремление приблизить поэтические мотивы к действительной жизни.

Так развертывалась школа «сладостного нового стиля» между 1283 и 1289 годами. Данте воспевал Беатриче не очень усердно: всего десяток стихотворений за все это время и, — что характеризует усердие еще более слабо, — две «дамы-ширмы»; отношения к первой тянулись много лет, а отношения ко второй сразу стали так бурны, что Беатриче обиделась и перестала кланяться. В переводе на язык поэтического роста это означает, что в Данте не открылись еще родники настоящего творчества, что он все еще чувствует себя учеником и берет разбег для настоящего прыжка. Ведет Гвидо. Данте не оспаривает у него первого места.

Все переменилось после того, как Данте написал канцону «Donne che

avete l'intelletto d'amore». Недаром поэт вспомнил ее, витая фантазией среди мрачных образов «Чистилища». Стихи этой канцоны и следующие за нею, особенно стихи того ряда сонетов, которые предшествуют оборванной смертью Беатриче канцоне «Si lungamente m'ha tenuto amore», сразу вознесли Данте на такую высоту, какая и не снилась Гвидо. Из них исчезло все условное, все надуманное, всякая игра в аллегорию. Трепетное чувство бьется в них и проступает наружу, как румянец на прекрасном лице. Язык их так воздушно легок и так прост, что, например, сонет «Tanto gentile e tanto onesta pare» можно читать на первых уроках итальянского языка. Откуда пришло все это?

Двух ответов не может быть. От поэтов из народа. Данте вырос настолько, что мог, не боясь ничего, «брать свое добро, где его находил». Все чужое в горниле его гения превращалось в подлинные сокровища слова и такие, какие никто кроме него создать не мог. Как член социальной группы, Данте был далек от Чекко Анджольери, от Гвидо Орланди, но то, что было в их творчестве здорового, он брал без колебаний. У тех простота граничила с вульгарностью, а безискусственность переходила в сухой прозаизм. Данте пропитал то и другое своим мастерством, мелодикой своего стиха, и его поэзия приобрела силу, не потеряв прежнего совершенства. Чтобы уметь сказать так, как в повести Франчески, в эпизодах о Сорделло или о Бокаджунте, в молитве св. Бернарда, нужно было научиться сначала сказать так, как в сонете «Tanto gentile». Сложность образов «Комедии» не оказалась препятствием для языка, прошедшего испытание «Новой жизни».

Точнее — средних стихов «Новой жизни», потому что после оборванной канцоны идут вещи другого порядка: канцона, полная снова искусственности, сонеты «даме из окна», полные снова недоговоренности и двойственности, последний сонет, мимолетная прелюдия к «музыке миров», «Рая». Они сделаны так, словно поэт добровольно отказался от достигнутого совершенства в слове и стихе, как будто он решил потопить непосредственное свежее чувство в новых тонкостях отвлеченного умствования. Эти вещи формально тоже очень хороши, но в них отсутствуют простота и ясность. Вероятно, Данте именно этого и хотел. Ему нужно было провести грань между стихами, поющими о безмятежном блаженстве и спокойной радости любви, если не разделенной — не бывает ведь разделенной куртуазной любви, — то не отвергаемой, и стихами, в которых изливается неутолимое ничем острое горе. И ему нужно было дать почувствовать, какими новыми элементами будет обогащаться его поэзия. Недаром ведь его положение вождя в «сладостном новом стиле» нисколько

не поколебалось. Наоборот, именно стихи на смерть Беатриче привлекли новому направлению еще одного адепта, Чино да Пистойя, который первым из молодых объявил, что будет учеником непосредственно Данте, минуя Гвидо. Да и сам Гвидо теперь уже не претендовал на то, чтобы равняться с Данте. Чуждый зависти, он искренне радовался успехам друга.

А Данте для того, чтобы достигнуть на новом, намеченном им пути такого же совершенства, каким были отмечены средние стихи «Новой жизни», нужно было еще много. Ибо ему не хватало ни знаний, ни жизненной зрелости, ни более разнообразных и глубоких душевных переживаний.

Ближайшее десятилетие должно было дать ему все это.

Глава III

В общественной жизни и в классовой борьбе

1

Для этого я учусь, сколько могу... — Эти слова стоят в конце «Новой жизни». В переводе на язык хронологии это означает, что через год после смерти Беатриче Данте уже учился. Как началось и как продолжалось его учение, мы знаем из «Пира». Там говорится: «Когда потеряна была для меня первая радость моей души..., я пребывал столь уязвленным великой печалью, что не помогала никакая поддержка. Но все-таки через некоторое время ум мой, который старался выздороветь, потянулся (ибо ни мои, ни чужие утешения не действовали) к такому способу утешения, к которому прибег однажды один безутешный. Я принялся читать немногим знакомую книгу Боэция, в которой он, сирый и убогий, искал утешения^[8]. И услышав еще, что Туллием была написана еще одна книга, в которой, говоря о дружбе, он приводит слова утешения, сказанные Лелием, замечательнейшим человеком, по поводу смерти друга своего Сципиона^[9], стал читать и ее.

И хотя мне трудно было на первых порах освоиться с их образом мысли, мне это в конце концов удалось с помощью знакомства моего с грамматикой и отчасти собственного моего ума. Ибо умом я представлял уже себе, как можно узнать из «Новой жизни» многие вещи как бы в видении... И в то время как я искал утешения, я нашел не только лекарство от своих слез, но и слова писателей, наук и книг. Изучая их, я пришел к заключению, что философия, которая была госпожою этих писателей, этих наук и этих книг, была чем-то высоким. И чувство истинного изумлялось ей и неудержимо к ней влеклось. Когда я представил себе все это отчетливо, я начал ходить туда, где она правдиво излагалась, т. е. в школы монахов и на диспуты философов. Так, в короткое время, быть может в тридцать месяцев, я начал настолько ощущать ее сладость, что любовь к ней гнала и разрушала всякую другую мысль».

Тридцать месяцев, считая от начала занятий. Если считать от дня

смерти Беатриче — тридцать восемь. Это вытекает из вычислений Данте о вращении планеты Венеры. На что ушло это время? Мы только что видели: его увлекло чистое умозрение, к которому он уже раньше получил некоторую склонность, вращаясь в мире отвлеченных поэтических образов. Но теперь поэт хотел получить систематические знания. И он стал посещать своего рода философские факультеты, приютившиеся в некоторых церквах и монастырях, особенно тот, которым руководили доминиканцы в Санта Мария Новелла. Эти занятия, вместе с диспутами, на которых особенно отличался его старый друг Брунетто Латини, имели огромное значение для всего дальнейшего поэтического пути Данте. Здесь он получил возможность углубиться в изучение представителей средневековой мысли, начиная от Блаженного Августина и кончая классиками схоластической философии: Пьетро Ломбардо, Пьеро Дамиани, Альбертом Великим, Фомой Аквинским, Бонавентурой. Двое последних имели на него особенно большое влияние. Фома дал ему не только основательное знакомство со всей средневековой наукой, но приобщил его и к античной философии, т. е. главным образом к Аристотелю, которому следовал в своем учении он сам. А Бонавентура заразил его своим мистическим пафосом. Эти два полюса средневековой мысли помогли ему не растеряться в надзвездных пространствах «Рая».

Изучение философии сопровождалось более углубленными экскурсами в область классической литературы. Только теперь Данте расширил свое знакомство с классиками, которому робкое начало положила школа. Он штудировал Цицерона, Овидия, Горация, Ювенала, Лукана, Стация и, наконец, Вергилия, который сделался любимым его поэтом. Его познания в классиках были, конечно, не широки и не глубоки. Любой из рядовых гуманистов XV века знал больше. Многие из более ранних схоластиков — Рабан Мавр, Иоанн Солсберийский, Венсан Бовесский — были более начитаны. Греческого он не знал совсем. Его отношение к классикам отдает схоластикой и церковно-школьной рутинкой. И тем не менее Овидий, Гораций, Стаций и Лукан, особенно Вергилий, для него живые любимые писатели. Позднее Макиавелли скажет про других писателей классического мира: «Я их вопрошаю и они благосклонно мне отвечают». Этого не умели делать схоластики. Это был метод Данте. Уже у Боэция и Цицерона философия предстала перед ним в оправе красноречия и поэзии. И он ее познал через доступные и близкие ему мотивы. А у поэтов древности он нашел родной ему язык образов. Ибо он сам был поэт. Поэзия дала ему доступ к их мироощущению. Поэзия ввела его под своды античных чертогов и сделала его способным не только ощущать, но и

понимать древность. Культ Вергилия он, можно сказать, воскресил. До него так обстоятельно не изучал Вергилия никто. Он «знал Энеиду наизусть». «Буколики» были ему хорошо знакомы, но «Георгики», повидимому, остались ему неизвестны. И, что было важнее, он почувствовал дух и эпоху Вергилия. Преломляясь через гекзаметры «Энеиды», на чело его упал золотой луч Августова века. И остался гореть на нем до конца.

Был Данте одинок в интересе к античному? Или этот интерес разделялся многими? Для характеристики ранней культуры коммун — вопрос огромного значения. Мы видели, что первое содержание коммунальной культуры дали ереси. Ереси одни несли руководящую идеологию. Не было никакой другой, когда в городах появились ереси. Не было литературы, не было науки, не было философии. Ересь заменяла все. И мы тоже видели — у каждого класса была ересь, соответствующая его социальному бытию. А если это была та же самая ересь, то каждый класс подхватывал и культивировал, как нужную ему идеологию, одну какую-нибудь ее сторону.

Каково должно было быть отношение людей еретической идеологии к классическому миру? Классический мир являлся неученому сознанию в двух реальных представлениях: в городе Рима, папской резиденции, ненавистном гнезде ортодоксализма, и в латинском языке, скрывающем от верующих слова Священного писания, живого источника живой еретической религии. Классицизм с точки зрения еретической коммунальной культуры представлялся поэтому ненужным и, пожалуй, вредным. Боккаччо, анализируя мотивы, заставившие Данте избрать для «Комедии» итальянский язык, замечает: «Вторым его соображением было такое: он видел, что изучение классиков (*i liberali studii*) всеми заброшено, и больше всего государями и прочими власть имущими, которые обыкновенно покровительствовали поэтическим трудам, и что поэтому божественные произведения Вергилия и других высоких поэтов не только не пользовались должным признанием, но находились, можно сказать, в пренебрежении у большинства».

Это было совершенно точно. Если мы вспомним, чем была культура при дворе Фридриха II и Манфреда, культура при дворах первых тиранов итальянского Севера, то мы должны будем признать, что классические увлечения были им совершенно чужды. Провансальские влияния, т. е. влияния людей, эмигрировавших из только что разгромленного за альбигойскую ересь^[10] культурнейшего края, определяли ее преимущественно. Провансальские поэты уже в первой половине XIII века бродили по всей Италии. Их было много в Савойе, в Луниджане у

Маласпина, в Монферрате у маркиза Бонифацио, в Ферраре у д'Эсте. Им «улыбался» в Вероне между двумя кровавыми деяниями свирепый Эццелино да Романо. Поэзия, выросшая в подражание провансальцам, была всего меньше классической. И самый *dolce stil nuovo* во Флоренции вдохновлялся какими угодно мотивами, только не классическими. Он был поэзией еретиков, у которых классики были «в пренебрежении». И Данте, пока не попали к нему в руки «утешители», Боэций и Цицеронов «Лелий», не чувствовал к древности никакого интереса. И мы знаем, как смотрели на древность лучшие его друзья, Гвидо и Чино, еретики оба. Когда отец Гвидо спрашивает у Данте в аду, почему с ним нет его друга, поэт отвечает, что он пришел не сам, что его привел Вергилий. И прибавляет:

Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno.

(Быть может, Гвидо ваш его не почитал.)

Вот это *disdegno* к Вергилию, и классикам, пренебрежение, о котором говорил Боккаччо, и есть типичное отношение еретиков к классическому миру. Чино дал выход однородным настроениям в сонете:

К чему, о гордый Рим, законов столько,
Сенаторов, плебеев...

Что же означало, что Данте, преодолевая элементарные трудности, — мы знаем, вплоть до грамматики, — сознательно захотел овладеть поэтическим наследием Рима и овладел им? Это могло означать только одно: что культурное господство еретического мироощущения приходило к концу и что люди с более острым взглядом искали других идеалов. Ведь Данте принадлежал к той же социальной группе, что и Гвидо, что и Чино. Их тесная дружба делает вероятным, что Данте в юные годы в какой-то мере разделял еретические взгляды. Зрелым человеком он предстает перед нами верным сыном католической церкви, но с яркими следами свободного отношения к религии. Его мистицизм, самая мысль сделать всю церковную догматику предметом поэмы, доступной по языку любому грамотному итальянцу, не говоря уже о безжалостной расправе с целым рядом пап и высших князей церкви, корчащихся у него в аду или чистилище, — все это следы еретических увлечений юных годов. Классические занятия ускорили

отход от всего того, что носило резко еретический характер и помогли ему в разных областях мысли подготовить материал для свободного искания новых идеалов.

Пока в нем совершался этот перелом, в городе обострилась классовая борьба. Гвельфская буржуазия под двойной угрозой — со стороны дворян, требующих доли во власти и не признающих никакого закона, и со стороны широких групп ремесленников, раздраженных оттеснением от власти, — прибегла к обычному приему. Она отколола от ремесленников ее верхушку, пять средних цехов, и с их помощью провела «Установления справедливости». Дворяне были разгромлены и низы ремесленничества приведены к покорности.

Данте не принимал никакого участия в этих событиях. Он был их жертвою, ибо принадлежал к дворянству. Но именно потому, что он не проявлял интереса к политике, репрессии, проводившиеся против дворянства, его не коснулись.

Он жил своей жизнью, заводил дружбу, завязывал знакомства и продолжал учиться. И развлекался и грешил.

2

Потому что Данте помимо того, что был гениальным поэтом, помимо того, что увлекался философией, был еще и молодым человеком, в котором бурлил могучий темперамент. А Флоренция в эту «счастливую и прекрасную пору покоя и мира» представляла гору соблазнов. Его тянуло к женщинам, к настоящим женщинам, к которым, конечно, никто не запрещает обращаться со стихами, но которых при этом можно любить самой обыкновенной земной любовью: чувствовать тепло их тела, ласку их обнаженных рук, сладость их губ. С «дамою из окна» было кончено очень быстро, потому что уж очень немного прошло времени после смерти Беатриче и, как только была успокоена немного пылкая страсть, наступило отрезвление и раскаяние. Это первое увлечение было забыто в философских и филологических трудах.

Но в двадцать шесть лет никакая философия и никакие классические поэты не могут захватить человека надолго. Темперамент прорвался.

Была ли тут связь с одной женщиной, с той, которая зовется малюткой, *la pargoletta*, более или менее продолжительная, или это был период многих недолгих увлечений, мы не знаем. Мы знаем одно: что любовь, пламенная и грешная, захватила поэта по-серьезному. Он сам дважды подтверждает

это. Во-первых, в эти годы написаны так называемые «каменные» канцоны, названные так, потому что в них странно часто и в каком-то особом чувственном смысле упоминается слово камень «la pietra». Они все пышут страстью, писаны замысловатыми размерами, словно поэт, чтобы понравиться своему предмету, хочет блеснуть перед ним своим искусством, как фазан пестрым оперением. А кроме того уже под старость он признал эти грехи в «Комедии». В чистилище сначала Вергилий заставил его очиститься огнем за компанию с душами, которые терпели муки за плотский грех, а потом ему пришлось выслушивать от Беатриче упреки за то, что он изменял ее памяти с другими женщинами.

Можно догадываться также, кто был тот соблазнитель, который увлек молодого Данте на дорогу запретных страстей. Это был, повидимому, Форезе Донати, брат Корсо. В «Чистилище» Данте поместил его в том кругу, где очищаются иссушающим жаром чревоугодники. Но Форезе грешил не только обжорством, а еще и сластолюбием. Данте связывала с ним тесная дружба. Про встречу в чистилище Данте рассказывает в очень теплых тонах, и, повидимому, обоюдная привязанность была очень сильная. Документом, свидетельствующим об этой привязанности, кроме «Комедии», является тенцона из нескольких сонетов, в которой друзья осыпают один другого самыми тяжелыми обвинениями. Несмотря на озорной характер тенцоны и явные преувеличения, все-таки остается нечто, что и на Данте и тем более на Форезе бросает неприятную тень. В тенцоне имеются, например, намеки, что денежные дела в семье Алигиери были далеко не в блестящем состоянии, что Данте был совершенно неделовым человеком, как и следовало ожидать, что хозяйство в доме вела сестра его Тана, а управлял имуществом брат Франческо, что Данте вынужден был принять на себя — по всей вероятности за жалованье — надзор за какими-то общественными постройками и не очень аккуратно обращался с казенными деньгами.

Поведение Данте, весь его новый образ жизни и компания людей, с которыми он водился, вызывали горькое чувство у «первого друга», Гвидо Кавальканти, от которого он стал далек. Огорчение и негодование Гвидо вылились в известном сонете «Io vegno il giorno».

На дню я прихожу к тебе без счета.
И вижу — низок стал твой образ мысли...



Джиотто (?) Портрет Данте. Фреска в Palazzo del Podesta во Флоренции.

Гвидо говорит дальше, что когда-то Данте не нравились люди известного сорта, что он избегал их докучного общества, что с ним он был дружен и он собирал его стихи. Теперь постыдная жизнь друга внушает Гвидо отвращение и к его стихам.

Упреки любимого друга, общество мертвых друзей, классиков, заставили Данте опомниться. Он вернулся к занятиям, и родные, воспользовавшись его отрезвлением, женили его. Женою его была выбрана Джемма Донати, дочь Манетто Донати, родственница Корсо и Форезе. Семья невесты была состоятельная, и родня Данте остановилась на Джемме, по всей вероятности, больше по соображениям экономическим, чем политическим. В то время было обычно для закрепления мира между двумя враждебными семьями заключать браки, причем возрастом не стеснялись, и женили иной раз детей, как Биче Портинари и Симоне деи Барди. Алигиери в момент брака Данте — он, вероятно, был заключен до

1297 г. — с Донати не враждовали. Дела у них были не блестящи, и размеры приданого играли большую роль. Но приданное Джеммы не внесло изобилия в дом Алигиери. Уже в 1297 году Данте с братом Франческо заложил часть имения за 480 флоринов, причем за братьев еще поручились дед Данте по матери Дуранте дельи Абати, тесть его Манетто Донати и двое знакомых. Манетто еще два раза пришлось поручиться за зятя в сумме в общей сложности в 136 флоринов. Если принять во внимание, что флорин по своей покупательной ценности был равен по меньшей мере 22 золотым лирам, то долги братьев Алигиери составят сумму очень значительную. Изгнание Данте, сопровождавшееся конфискацией лично ему принадлежавшего имущества, осложнило его отношения с кредиторами, но после его смерти продажа части имения довольно безболезненно ликвидировала главную часть долга. Остальное, вероятно, выплатил Франческо.

Что за женщина была Джемма? Боккаччо, когда писал биографию Данте, находился в женоненавистническом трансе и наплел про нее невесть что. Его словам в данном случае нельзя придавать значение. Но и ничего другого о Джемме мы не знаем. Единственно, что твердо, — это то, что у нее было несколько детей. Нам известны имена двух сыновей Якопо и Пьетро и двух дочерей Антонии и Беатриче.

Семейный уют и достаток дали возможность Данте спокойно продолжать свои занятия философией и отдаваться творчеству. Его поэзия с этих пор принимает характер созерцательный, отвлеченный, морализирующий. Поэт чего-то беспокойно ищет, чем-то беспрестанно мучит мятежный свой дух. Он весь внутри себя. Внешняя жизнь, где бьет ключом общественная борьба, его не интересует, к политической карьере он не стремится. Но если он не искал политических лавров, то его нашли политические тернии.

Пока Данте вздыхал по новой возлюбленной и писал «каменные» канцоны, полные страсти, «Установления справедливости» свирепствовали против дворян. Гонфалоньер то и дело отправлялся сопровождаемый стражею к дому того или другого из провинившихся и приказывал на своих глазах ломать его и срывать до основания. Протесты обиженных раздавались все сильнее и сильнее, но младшие цехи, вдохновляемые Джано дела Белла, держались твердо и не позволяли крупной буржуазии

уступать дворянам. Задачей дворянской группы поэтому естественно стало обезглавление ремесленников. Против Джано начались интриги, подробно рассказанные Дино Компаньи. Нужно было посорить его с младшими цехами. Джано знал об интригах, но «более смелый, чем осторожный» (Дино) не принимал мер. Интрига вскоре перекинулась в Рим, где только что (декабрь 1294) избранный папою Бонифаций VIII мечтал подчинить себе Флоренцию и боялся усиления демократической группы. Он охотно поддержал дворян и игравших в руку им богатых купцов. Джано в конце концов пришлось уйти в изгнание. Это было 5 июля 1295 года. На другой же день «Установления справедливости» были дополнены новеллами, которые, как мы знаем, фактически допускали дворян к приорату и слегка смягчали карательную часть конституции. Ремесленники, конечно, немедленно поняли, какая огромная политическая уступка дворянам заключалась в этой поправке. Свое отношение к ней они выразили в форме красноречивой, но едва ли очень приятной приорам, принявшим эту поправку. Когда они, кончив срок, покидали свое помещение, «их кололи в зад деревянными колыями и забрасывали камнями за то, что они согласились провести благоприятный для дворян закон» (Дж. Виллани). Ремесленники попытались было после этого добиться отмены изгнания Джано, но враги лидера младших цехов нажали все пружины в Риме, и Бонифаций прислал во Флоренцию грозное письмо, предупреждавшее, что в случае амнистии Джано на город будет наложен интердикт. Интердикт ставил вне закона всех флорентийских граждан за пределами родной территории. Купцам, имевшим товары и капиталы за границей, с этим шутить не приходилось. Джано амнистии не получил. Он умер на чужбине.

Дворянам, вероятно, было нелегко подчиниться необходимости и вступить в цехи. Но выгода была очень велика, и маленькое насилие над сословной гордыней искупалось с избытком. Получить запись (имматрикуляцию), конечно, было очень просто. Старшие цехи очень охотно пускали дворян к себе: в младшие они сами не записывались.

Данте был в числе тех дворян, которые воспользовались правом имматрикуляции в цех. Он выбрал шестой цех: врачей и аптекарей, один из старших. Этот цех кроме двух основных профессий включал в себя еще книгопродавцев и художников. Выбрал он его, повидимому, потому, что из двух интеллигентских только в него был открыт доступ неспециалистам. Юристы требовали предварительного испытания. А в купеческие Данте, ничего общего не имевший с торговлей, едва ли стремился. В матрикулах его профессия формулируется так: «Dante d'Aldighieri degli Aldighieri, Poeta Fiorentino». Поэт. Другой профессии у Данте не было.

Однако есть данные, заставляющие предполагать, что Данте хотя и не чувствовал сильного влечения к политике, все-таки не избегал политической деятельности. В 1295 г. он был уже членом Совета подесты: еще до поправок, ибо основная редакция «Установлений» лишала дворян только права быть приорами; в члены Советов она допускала и их. В конце того же года, уже после реформы, Данте был членом специальной комиссии, которая должна была установить порядок выбора в новую коллегия приоров. Летом 1296 г. он был в числе членов Совета ста, собравшегося в церкви (ныне не существующей) Сан Пьер Скераджо для обсуждения проектов, внесенных капитано. Всюду Данте голосовал и выступал с речами, но никто из хронистов не отметил в его выступлениях чего-нибудь замечательного.

В нем кипели жизненные соки. Ему было тридцать лет. Полный расцвет, молодость, сознание недюжинных сил. И его тянуло всюду, где он мог набраться каких-то впечатлений. Поэзия и философия не удовлетворяли его. Развлечения не захватывали целиком. А время было такое, что вокруг ключом били энергия, предприимчивость, творчество. Ведь именно в эти годы Флоренция от избытка богатства своего украшалась лихорадочно. Одно за другим вырастали грандиозные сооружения. В 1294 году коллегия приоров приняла такое постановление: «Принимая во внимание, что является признаком державного благоразумия со стороны великого народа действовать так, чтобы по его внешним делам познавались мудрость и благородство его поведения, — мы дали приказ Арнольфо, архитектору нашего города, изготовить чертежи и планы для обновления церкви Сайта Репарата с величайшим и самым пышным великолепием: чтобы предприимчивость и мощь человеческая не могли никогда ни задумать, ни осуществить ничего более обширного и прекрасного». Это было начало работ по перестройке собора, который Брунеллеско позднее должен был увенчать своим чудесным куполом. Вот это гордое сознание бьющей через край силы, избытка творческих порывов и уверенность в том, что предприимчивость граждан даст средства для самых грандиозных сооружений, руководили флорентинцами во всех начинаниях. Их было много.

В 1293 году было приступлено к украшению баптистерия Сан Джованни. В 1295-м тот же Арнольфо ди Камбио начал строить церковь Санта Кроче. При закладке ее присутствовали кроме духовенства «подеста, капитано, приоры и весь добрый народ флорентийский, мужчины и женщины, с великим ликованием и торжеством» (Дж. Виллани). В эти же годы из городской и цеховой казны оказывалась денежная поддержка

постройке орденов церквей Санта Мариа Новелла и Сан Спирито, а в 1298 году было приступлено к сооружению третьей городской стены, ибо население, буйно растущее, уже не помещалось в кругу старой и со всех сторон вылезало в пригороды. Эти пригороды было решено охватить новым каменным кольцом. В том же году рядом с расширенной городской площадью, раскинувшейся на месте старых гибеллинских замков, начали строить Палаццо приоров, потому что разыгравшиеся к тому времени смуты делали небезопасными их пребывание в доме Черки за церковью Сан Прокколо. И опять тот же неутомимый и гениальный Арнольфо принялся за постройку, чтобы создать свой шедевр.

Молодого Данте увлекало все: и сознание, что он член, теперь уже полноправный, этого чудесного организма, опасного иной раз, но такого захватывающего. Он был весь в упоении от этой атмосферы, полной творческих порывов, и в нем росло желание не оставаться безучастным созерцателем того вихря энергии, который кружил всем и дарил городу победу за победой на всех поприщах труда. Он учился, творил и незаметно втягивался все больше в общественную жизнь.

Документы все чаще регистрируют его участие и его голосование в собрании различных временных и постоянных советов. Но это было начало. Уже зрели события, которые должны были вовлечь его в свой круговорот.

10 декабря 1296 года в доме Фрескобальди у моста Тринита, по ту сторону Арно, хозяева справляли печальное торжество. Умерла дама из их семьи, и многочисленная родня вместе с близкими друзьями сошлись отдать ей последний долг. Среди присутствующих были семьи, между которыми давно была вражда. Особенно грозно глядели друг на друга Черки и Донати, сидевшие, как того требовал обычай, на циновках, разостланных на полу одни по одну сторону гроба, другие — по другую: рядом сажать их было рискованно. О покойнице уже не думали и были настороже, готовые ко всему. Слово нужен был лишь повод для того, чтобы все прорвалось наружу. Ждать этого повода не пришлось. Кому-то понадобилось встать на ноги, «чтобы поправить одежду или зачем-то еще» (Дино). Сейчас же другая сторона вскочила как один человек с грозно горящими глазами, и руки легли на рукоятки мечей. Мечи засверкали и у этих. Хозяева и остальные гости принялись разнимать врагов. Стычку у

гроба удалось предотвратить, но в городе она разыгралась в настоящую уличную битву. Донати, чувствуя себя более слабыми, заперлись в своих домах-крепостях. Черки, наскоро собрав своих сторонников, пошли на них. С криками «жги их!», «смерть мессеру Корсо!» пытались они штурмовать крепкие каменные стены, но были отбиты. И был маленький эпилог, героем которого оказался Гвидо Кавальканти.

Когда Гвидо ездил в паломничество в Сан Яго де Кампостелья в Испании, Корсо Донати, — мы сейчас познакомимся с ним ближе, — покушался его отравить. Замысел, к счастью, не удался, и Гвидо о нем узнал. В гордой и пылкой душе поэта залегла обида. Он громко говорил, что отплатит убийце. И теперь, проезжая по городу с группой друзей, он встретил Корсо, который был со своими. У Гвидо в руке был дротик. Крикнув спутникам и уверенный, что они последуют за ним, он пришпорил коня и метнул в Корсо свое оружие. Корсо ловко увернулся, и дротик пролетел мимо. Друзья Гвидо, не желая ввязываться в стычку, проехали дальше, а на Гвидо бросились с обнаженными мечами сын Корсо Симоне и бывшие с ним. Гвидо удалось ускакать. Приоры оштрафовали главных виновников нарушенного спокойствия, и на некоторое время установился мир.

Случай на похоронах у Фрескобальди Дино Компаньи и Джованни Виллани считают началом раскола у гвельфов. Но это только так казалось. Распря назревала давно и причины ее были сложные. Черки и Донати стояли во главе двух групп, на которые разделилась гвельфская партия.

Черки были низкого происхождения и разбогатели, занимаясь ростовщичеством и скупкой гибеллинских имений. Донати были старые дворяне, цвет старой феодальной знати, но уже не очень богатые. Во главе семей стояли оба героя Кампальдино: Вьери деи Черки, который первым ударил на врага во главе своего отряда, и Корсо Донати, фланговая атака которого решила бой. Вьери был отличным купцом, а дело его — едва ли не самым крупным в Европе. Во Флоренции мало было людей богаче его, если вообще были. Незадолго до этого случая на похоронах он купил дворец графов Гвидо Гверра, самый пышный тогда палаццо в городе, чем вызвал великое неудовольствие среди дворян. Но чтобы быть хорошим политиком, ему не хватало ни характера, ни хитрости, ни беззастенчивости. Всем этим в изобилии был наделен Корсо.

«Рыцарь, похожий на римлянина Катилину, но более жестокий, чем он; благородного происхождения, собой красивый, увлекательный оратор; человек, обладавший прекрасными манерами, тонким умом и душой, всегда готовой на злодейство. За ним охотно шли вооруженные люди, и

свита у него собралась большая. По его приказанию они совершали много поджогов и грабежей, к великому ущербу Черки и их друзей. И накопил он большие богатства и достиг высокого положения. Таков был мессер Корсо Донати, которого за его высокомерие звали Бароном; когда он проезжал по городу, многие кричали «да здравствует Барон!» и казалось, что город принадлежит ему. За такое почитание он охотно оказывал поддержку своим сторонникам».

За Корсо шло гвельфское дворянство. Вьери искал поддержки в кругах городской интеллигенции и богатой буржуазии, державшей в руках выборную процедуру. Он не принадлежал к тем, кто особенно усердно старался об изгнании Джано делла Белла. Корсо, наоборот, был в числе самых рьяных врагов Джано. Политическое соперничество давало много поводов для вражды обеих семей. Но были и личные. Первым браком Корсо был женат на одной из Черки. Она умерла рано, и у родни ее были большие подозрения, что она была отравлена мужем. Это тоже не способствовало сердечным отношениям. Наоборот, поводов для обострения враждебных чувств было сколько угодно. В декабре 1298 года молодежь из семьи Пацци, близкой к Корсо, напала на Черки, проезжавших через их земли близ Флоренции. Произошла стычка, и на обе стороны были наложены такие штрафы, что даже Черки предпочли отсидеть. В тюрьме их навещали, и однажды к ним пришел Нери дельи Абати, приятель Корсо, со своим угощением, блюдом свинины. Отведавшие его Черки все заболели, а четверо умерли. Доказательств преступления не было, и процесс начать было невозможно, но деяние было записано и молвой и родственниками пострадавших в счет Корсо.

С этих пор вражда между двумя семьями обостряется.

Черки перестали посещать собрания гвельфской партии, где Корсо пользовался большим влиянием. Они стали искать связей в пополанских кругах, заводили дружбу с правящей группой буржуазии. Большие богатства позволяли им оказывать многочисленные личные услуги пополанам и за это как должностные лица, так и наемное чиновничество были им преданы. И популярность их в городе стала так велика, что им со всех сторон предлагали и уговаривали захватить власть. «Им легко было бы получить ее из-за их доброты. Но они ни за что не хотели на это согласиться» (Дино). Донати, наоборот, по старому рецепту всех демагогов, явно стремящихся к власти, заигрывали с низшими группами в городе.

Постепенно в распрю стали втягиваться все видные семьи Флоренции. Вокруг Черки сгруппировались Моцци, Скали, Кавальканти, Фрескобальди и много пополанов. Вокруг Донати — Тозинги, Пацци, Барди, Спини,

Росси и один из лидеров зажиточного ремесленничества, темный демагог, мясник Дино Пекора. Дино Компаньи говорит: «Город снова раскололся: большие люди, средние и маленькие; даже духовенство не могло удержаться, чтобы не склониться душою на сторону одной из этих партий».

Что же обуславливало такое повальное разделение города на две партии? Ведь мало правдоподобно, что и ремесленники и мелкий люд, *piccolini*, поддались чисто эмоциональной заразе, не будучи никак заинтересованы. Мы очень хорошо знаем, что такие широкие разлады, охватывающие все группы, могут происходить лишь тогда, когда дело касается жизненных интересов. Были ли затронуты в данном случае интересы у столь различных групп?

Быть может, ответа на этот вопрос нужно искать в том факте, что в распрю Черки и Донати во Флоренции очень скоро вмешался папа Бонифаций. Что побудило его к этому? Или вернее: кто побудил его к этому? Дино говорит: «Банкирами его были Спини, богатая и влиятельная флорентийская семья. При нем из них находился Симоне Герарди, человек очень опытный в этих делах. А с ним был сын флорентийского серебряника, Неро Камби, человек ловкий и тонкого ума, но грубый и неприятный. Он так старался, чтобы сокрушить Черки, что папа послал во Флоренцию кардинала фра Маттео Акваспарта для умиротворения». С кардиналом мы сейчас встретимся. Вернемся к Спини. Рядом с этой длинной, но содержательной записью Дино одна строка у Джованни Виллани кажется скудной и сухой, но в ней есть указание чрезвычайно важное: «Он (Джери Спини) и его компания были банкирами папы Бонифация и руководителями всего». «Все» — это интрига, направленная против Черки, и не могло быть ничем другим. В распре нападающей стороной всегда были Донати, прежде всего Корсо, человек буйный и честолюбивый, но не обладавший большим умом. Черки всегда только защищались, потому что фамильный нрав у них был мирный и невоинственный. А все то, что выставляется как причина ненависти Корсо к Вьери, не объясняет самого главного: поддержки, которую он встречал в разных группах флорентийского населения.

Но когда нам говорят, что Джери Спини, папский банкир, колоссально богатый человек, хотел сокрушения Черки, тоже банкиров и тоже колоссально богатых людей, мы начинаем кое-что понимать. Именно соперничество и конкуренция двух денежных мешков могли привести ко всем тем последствиям, о которых говорит Дино: что разделение охватило всех — богатых, средних и маленьких. Если Джери из Флоренции, через своих, вертел в Риме всем, в том числе и папой, то Корсо был просто его

орудием, угловатым, нужно думать, довольно дорогим, но в конце концов послушным. А всякая мелочь вроде Дино Пекары, сыпя золотом Спины по ремесленным лавочкам, вербовала сторонников Корсо и заставляла одаряемых кричать: «Viva il Вагопе!» Цель Джери ясна, хотя никто из современников нам о ней не говорит. Все объясняется конкуренцией двух банкирских домов. Джери хотел выбить из флорентийских позиций капитал Черки, ибо его собственный загружен был не весь. А быть может, дело было сложнее: быть может, Джери желал отделаться от конкуренции в самом Риме, потому что при курии наряду с его банком работал тоже флорентийский банк Моцци. Моцци были сторонники и близкие люди Черки, и достать Моцци, пока не были сокрушены Черки, было нельзя: Вьери не дал бы их в обиду. Возможно, что римские капиталы Моцци, подкрепляемые из Флоренции Черки, сильно беспокоили Спины, ибо Бонифаций как совершенно беспринципный человек не делал разницы между Спины и Моцци, когда нуждался в деньгах. Во время войны его с римскими Колонна заработали не только Спины и Моцци, но и все итальянские мелкие банки. Для конкуренции, словом, почвы было достаточно. Ее причины полностью мы могли бы узнать только из торговых книг и торговой корреспонденции обеих фирм. Но фраза Виллани допускает только одно толкование. И недаром Дино, перечисляя своих сограждан, на которых лежала вина в разрушении флорентийского благополучия, восклицает по адресу Джери: «О, мессер Джери Спины, насыщай свою душу! Искореняй Черки, чтобы самому тебе можно было жить спокойно плодами твоего вероломства». Цели Спины были ясны и для современников. Но перед их глазами стояли рядом две фигуры: Корсо и Джери, одна — темпераментная, властная, красочная, другая — скромная, любящая не свет и солнце, как Корсо, а тень, предпочитавшая действия не открытые, а келейные, — и у них путалась перспектива. Потому сравнительная оценка роли обоих получилась неправильная. Настоящим вождем партии Донати был Джери Спины. Корсо был не более, как его цепным псом, которого он пускал вперед, когда нужно было кого-нибудь схватить за горло. Чтобы быть настоящим вождем, Корсо не хватало ни ума, вопреки утверждению Дино, ни капитала. Иначе, чем объяснить, что когда было сделано все, что требовалось для Спины, когда Черки были изгнаны и капитал Спины мог свободно маневрировать во Флоренции, — Корсо так быстро сошел на нет и, лишенный руководства и поддержки, погиб, как последний авантюрист в случайной уличной схватке?

Наоборот, у Джери все было обдуманно, В Риме сидели его люди: Симоне Герарди деи Спины, родственник, и Нери Камби, доверенный

человек. Они всегда имели доступ к папскому уху через Якопо Гаэтани, тоже банкира, папского племянника, который делал с папой, что хотел. В молодости он сам служил его извращенной похотливости, а когда прошли годы, отдал на потеху папе сына и — так как Бонифаций не был вполне последовательным педерастом — дочь. Папа осыпал Якопо милостями и доверял ему безусловно, — как было не доверять столь самоотверженному слуге! Агенты Спины всем этим пользовались чрезвычайно искусно.

Черки во Флоренции знали, повидимому, не все секреты папского двора. У Моцци не было там такого друга, как Якопо Гаэтани. Во всяком случае размеры той опасности, которая им угрожала, были для них неясны. Иначе трудно объяснить, почему они не предпринимали никаких серьезных мер, чтобы парализовать интригу Спины. Они ограничивали свою деятельность одной Флоренцией, в то время как Джери втягивал в кампанию и другие коммуны, и Ватикан, и даже, как увидим, Францию в лице Карла Валуа. В дипломатическом искусстве Вьери Черки трудно было тягаться с Джери.

Едва ли может быть сомнение, что и основная политическая линия Бонифация VIII по отношению к Флоренции была подсказана ему Джери.

Только он мог подбросить папе идею образования из Тосканы с центром во Флоренции особого государства для одного из его родственников. Путь для осуществления этой мысли рисовался в достаточной мере простой. Так как настоящими гвельфами, не имеющими никаких других интересов, изображались Донати со своими сторонниками и с Корсо во главе, папе нужно было с самого начала стать на их сторону. Ибо одни они могли помочь ему одолеть противодействие папским планам внутри Флоренции. Наоборот, Черки, у которых были тесные связи в самых широких и разнообразных пополанских кругах, ни в каком случае не могли быть вовлечены в орбиту этих затей и поэтому должны были считаться врагами. Правда, Черки тоже были гвельфы, как и Донати. Но Спины нетрудно было пустить в ход версию о том, что у них связи с гибеллинами и общие с ними политические замыслы. Бонифацию, впрочем, это было все равно. Он был человек совершенно беспринципный. Лозунги не имели для него никакого значения, если под ними не скрывалось ничего реального. Был же он способен женить еще одного своего племянника Лоффредо Гаэтани на наследнице одного гибеллинского рода только потому, что она была очень богата. Идею Джери насчет Флоренции он оценил очень хорошо. Уж очень была соблазнительная перспектива подчинить себе — не церкви, а роду Гаэтани — эту лучшую жемчужину из удела графика Матильды^[11]. И линия его по отношению к флорентийской усобице была

установлена определенно и окончательно,

После массового отравления Черки в январе 1299 года Вьери уговорил своих воздерживаться от посещения собраний центрального органа гвельфской партии. Поле деятельности было оставлено Донати, и Корсо, получив свободу, распоясался совсем. Уверенный в поддержке партии, он заставлял обходить постановления *Ordinamenti*, потом начал совершенно неправильную денежную тяжбу против своей тещи и выиграл ее, подкупив подесту Монфьорито да Кодерта. Но это была Пиррова победа. Все вышло наружу. Подесту посадили в тюрьму, и он под пыткой сознался во всем. На Корсо был наложен штраф, а когда он не подчинился, его изгнали. Это было в мае 1299 года. Целых два с половиной года он отсутствовал из Флоренции, и Черки немедленно развернули широкие маневры на освободившейся политической арене. Они выдвинули лозунг незыблемости «Установлений справедливости», многократно нарушавшихся Донати, и требовали неуклонного осуществления карательных законов против дворян. В этом они встретили полную поддержку со стороны всех пополанских групп. Их сближение с ними сделалось еще теснее, когда во Флоренцию стали проникать темные слухи о планах папы. Пополанские группы под предводительством Черки не только сплотились крепче между собой, но, чтобы усилить себя, завели связи с гибеллинами, т. е. пошли на то, в чем их давно обвиняли Донати и что до этого момента было политической ложью. Связь с гибеллинами, как бы она ни была слаба, окончательно вырыла бездну между дворянской и пополанской группами, ибо теперь соперничество Черки и Донати внутри города почти с точностью покрывалось именно таким социальным расслоением. Власть принадлежала пополанам, но за дворян стоял папа.

Свое отношение к флорентийским событиям Бонифаций раскрыл самым недвусмысленным образом тем, что сейчас же после выезда Корсо Донати из города он дал ему сначала место подесты в Орвието, а потом назначил его правителем небольшой горной области в Марках. А Вьери деи Черки он вызвал в Рим: уговаривал его помириться с Корсо и вернуть его на родину. Вьери сухо отвечал, что он ни с кем не ссорился, и возвратился домой. Папа разгневался, и слухи об интригах в Риме стали еще более тревожными. Тогда во Флоренции решили добыть верные сведения о том, какие куют в Риме замыслы.

В марте 1300 года юрист Лапо Сальтерелли во главе пышной делегации был отправлен с какой-то торжественной, но пустой миссией к папе. Настоящей целью поездки было поручение разузнать доподлинно, что затевают в курии против Флоренции. Лапо приходился тестем одному из Черки. Он был знающий и умный правовед, но человек, повидимому, жадный до денег, чрезмерно склонный к удовольствиям и беспринципный: Данте помянул его нехорошим словом в «Комедии». Он быстро разобрался в ватиканских делах и установил, что замыслы действительно существуют, установил лиц, и когда в начале апреля делегация вернулась домой, в руках Лапо был обильный и неопровержимый обвинительный материал. Согласно этим данным Симоне Геради деи Спини и двое других флорентинцев, близкие к папе люди, были приговорены к крупным штрафам, а в случае неуплаты — к вырезанию языка. Так как ни один из них не собирался платить, ни являться во Флоренцию, то приговор фактически означал изгнание. Папа сильно разгневался и потому, что были раскрыты его планы, и потому, что были наказаны его приближенные. Он резко потребовал отмены приговора. Но коллегия приоров, вступившая в должность 15 апреля 1300 года, — Лапо как раз был ее членом, — подтвердила его. Новое письмо папы помогло осужденным не больше первого. Но тут произошло новое обстоятельство.

Вечером 1 мая, согласно обычаю, установившемуся уже лет десять, молодежь собиралась перед церковью Санта Тринита, чтобы справить майский праздник. Мужчины и девушки, украшенные цветами, пели, танцевали и веселились, как умели. Кругом площади стояли верхами зрители, среди них группа Черки. В самый разгар праздника подъехала другая группа всадников — Донати, — и случайно оказалась возле Черки. Загорелись глаза, раздались обидные и угрожающие слова, и вдруг молодежь Донати бросилась на стоявшего ближе к ним РикOVERИНО Черки с мечами и кто-то начисто отрубил ему нос. Крики и звон оружия разнесли тревогу по всему городу. Девушки разбежались, теряя венки и путаясь в цветочных гирляндах. Молодежь кинулась к оружию. По всему городу стали захлопываться с жутким стуком ставни, ворота и двери у лавок. Загудел набат, и вооружаться стали все пополаны. Но на этот раз уличный бой был предупрежден. Виновные были обложены высокими штрафами, и сам Вьери Черки привел в суд безносого РикOVERИНО, чтобы заставить судью наказать дворян-буянов по всей строгости «Установлений».

Дворяне были разозлены до последней степени, и так как Корсо, вызванный папою в Рим, непрерывно подстрекал своих к серьезному выступлению, они решили сойтись в той самой церкви Санта Тринита,

перед которой произошло побоище, чтобы посоветоваться, что делать. Было решено собрать в домах как можно больше вооруженных, сговориться, чтобы граф Гвидо ди Баттифоле пришел к ним на помощь со своим отрядом, и как только он появится перед городом, поднять восстание. Целью восстания было изгнание Черки и захват власти. Но планы дворян стали известны, граф Гвидо не двинулся и приоры обрушили на головы заговорщиков тягчайшие кары. Сын Корсо Симоне и граф Гвидо с сыном должны были уплатить 20 000 лир штрафа^[12], а Корсо как главный зачинщик был приговорен к смерти, к разрушению всей недвижимости и конфискации всей движимости. Все его дома во Флоренции были немедленно сравнены с землей. Кроме того по несколько лиц из партии как Донати, так — для справедливости — и Черки были отправлены в ссылку. Это было в середине мая. В числе последних был Гвидо Кавальканти: вспомнили его нападение на Корсо в 1298 году. Местом ссылки для него и его товарищей была назначена Сарцана в Луниджане, известная как одно из самых гиблых мест во всей Италии. Сделано это было с хитроумной целью: чтобы был повод скорее их вернуть. И действительно, уже в июле, когда в числе приоров был уже Данте, очевидно позаботившийся о друге^[13], их вернули. Для Гвидо амнистия все-таки запоздала. Малярия сделала свое дело. Поэт, не надеявшийся больше увидеть родину и изливший свои чувства в чудесной балладе, радостно возвратился домой, но поправиться уже не мог. Он умер через месяц. Донати и их друзья были сосланы в Умбрию.

Папа, которого теперь обрабатывал не только осторожный Симоне Герарди, но и буйный Корсо, решил для водворения мира отправить во Флоренцию специального легата. Выбор его пал на кардинала Маттео Акваспарта. Он прибыл в город в начале июня и немедленно потребовал именем Бонифация отмены всех приговоров, ибо, — говорил он, — они по существу направлены против самого папы. Но Лапо Сальтерелли, прежде чем кончился двухмесячный срок его приората (15 июня), добился создания специальной комиссии, которая совместно с приорами постановила, что папа не имеет никакого права вмешиваться в отправление правосудия в городе. Советы утвердили это постановление, и у легата была сразу выбита почва из-под ног. Соглашение становилось невозможным. Предстояла борьба, тяжелая и опасная, потому что папа был враг нешуточный. Нужно было заботиться о союзниках.

Флоренция издавна стояла во главе так называемой Гвельфской лиги, в которую входили Лукка, Пистойя, Прато, Сан Миниато, Сан Джиминиано,

Вольтерра, Поджибонси, Колле. Силами этих городов удавалось поддерживать мир в Тоскане и держать в страхе ее врагов. Предстояли выборы нового военачальника Лиги, и из Флоренции в разные города были разосланы верные люди, чтобы под предлогом приглашения на выборное собрание укрепить связи с Флоренцией и предупредить против возможных интриг, дворянских и папских. Задача была трудная, потому что приходилось косвенно выступать против папы. А ведь Лига была гвельфская.

В Сан Джиминиано был делегирован Данте Алигиери.

6

В первый раз на Данте возлагалось ответственное поручение. И он его принял. Согласие его означало многое. Дело было не только в том, что Данте решил поехать в тихий городок, затерявшийся среди зеленых холмов Вальдэльзы, послом от Флоренции. Тем, что он поехал, он определил свою политическую позицию. Он будет не с Донати, а с Черки, не с дворянами, а с пополанами. До этого момента его политическое лицо было неясно. Он был дворянин. Мало того: жена его была Донати. Брат Корсо, Форезе, был его другом. Можно было ожидать, что если он и не примкнет прямо к дворянам, то по крайней мере сохранит нейтралитет, как очень многие. Данте этого не захотел. Его характер к этому времени определился вполне. Ему было ведь тридцать пять лет, и сложиться человеку было пора. Особенно в такое время, когда бурно теснились события и заставляли каждого чуть не ежедневно задумываться над их смыслом, политическим и моральным. То, что Данте пошел с пополанами, доказывает прежде всего его большую общественную честность. Он не захотел в этот критический для его родного города момент оставаться в стороне от тех, кто боролся и страдал. Он пожелал разделить ответственность за судьбу родины с наиболее активной частью ее сынов. Потому что ему претило положение быть *senza infamia e senza lode*, «без хулы и без хвалы» («Ад», III). И это навсегда. Он не будет оппортунистом и будет презирать компромиссы. Всегда, что бы ни случилось и как бы ни приходилось ему тяжело.

Другой вопрос, почему он стал на сторону пополанов. На него ответить труднее. Данте и помимо происхождения, помимо родственных связей скорее должен был стать на ту сторону, которая дальше от масс, в которой аристократический принцип проводился последовательнее. Ибо поэт был горд и высокомерен, к толпе относился с пренебрежением и

чувствовал тяготение к избранным. Но его отшатнуло от Донати то, что они были люди беспринципные и подчинялись Корсо, человеку, отягченному многими преступлениями самого низменного свойства, что они втянулись в темную игру с папою, которая была очень похожа на предательство. А в этих вопросах Данте не знал колебаний. Совесть его была чиста, и свою чистую совесть он готовился сделать судьей дел и людей своего времени. Он не мог быть на той стороне, где был Корсо, где были такие, как Корсо, и если не такие, как Корсо, то такие, которые терпели Корсо. Но, повидимому, и к Черки Данте не чувствовал особенно большой привязанности. Он был с ними, потому что они защищали самостоятельность и свободу его родного города против покушений извне. Ему долг велел быть с ними, не чувства. Политические и моральные соображения, отталкивавшие его от Донати, приводили его к Черки.

А быть может, он был втянут в партию Черки своим другом Гвидо Кавальканти. Нет никаких данных, чтобы считать охлаждение к нему Гвидо длительным. После женитьбы Данте вернулся к занятиям и к поэзии: иначе в «Пире» не было бы стольких доказательств большой работы и большой поэтической продукции: ведь взыскательный к себе Данте не только не включил в «Пир» многих своих стихотворений — их там совсем немного, — но не считал большинство их вообще заслуживающими сохранения. А если он писал стихи и жил спокойной трудовой жизнью в кругу семьи, нет никаких оснований предполагать, что Гвидо был от него далек. Если же он был близок, то именно он — дворянин из старой феодальной семьи, зять Фаринаты дельи Уберти, идущий теперь об руку с пополами — мог увлечь его к Черки своим примером.

Но если Данте не был очень горячим сторонником Черки, то не приходится сомневаться, что правящая группа чрезвычайно дорожила тем, что он был с нею, ибо ставила его очень высоко. Миссия в Сан Джиминиано была одним из доказательств большого к нему доверия.

«Город прекрасных башен» единственный из старых итальянских городов до сих пор сохранил тот облик, который он имел в дни Данте. Он не вышел за ограду своих средневековых стен и не лишился своих башен. Его и стараются сохранить в таком виде, чтоб он был чем-то вроде музея. И это удается настолько, что люди в современных одеждах на его улицах кажутся каким-то живым противоречием.

В санджиминианском палаццо подесты свято бережется «зала Данте». В ней 7 мая 1300 года поэт выступил перед местным советом с приглашением прислать в Эмполи делегатов для участия в выборах нового полководца Лиги. И агитировал за кандидата Флоренции барона деи

Манджадори из Сан Миниато. А может быть, в собрании менее открытом, предостерегал местных людей от происков Рима. Выполнив поручение, он вернулся во Флоренцию и здесь через месяц с небольшим был выбран одним из членов коллегии приоров. Срок его пребывания у власти начинался 15 июня и должен был кончиться 15 августа: приорат был должностью двухмесячной. Данте стал видным политическим деятелем.

Положение новой коллегии приоров было трудное. Кардинал Акваспарта был в городе и не собирался уезжать, не добившись цели, т. е. не вынудив флорентийское правительство отменить приговор, тяготевший над Симоне Герарди с товарищами. А сидя в городе, он, разумеется, все время подстрекал дворян к оппозиции властям и к борьбе против пополанов. Соотношение социальных и политических сил странно переместилось. Прежнее ядро гвельфской партии, пополаны и во главе их представители банковского капитала, Черки, были теперь противниками папства и заигрывали с остатками гибеллинов. А потомки гибеллинского дворянства, руководимые тоже банковским капиталом, Спини, были верной гвардией папства, патентованными гвельфами. Это доказывало только одно: что руководящей силою был банковский, т. е. в конечном счете торговый, капитал, внутри которого шло свое расслоение, и что по линиям этого расслоения размещались все остальные социальные группы.

И как бы для того, чтобы яснее поставить знаки этого нового разделения, подоспело обострение событий в Пистойе. Там уже давно зрел свой раскол. Самая влиятельная и богатая семья в городе, Канчельери, делилась на две ветви, которые по цвету своих гербов звались Канчельери белыми и Канчельери черными. С середины 80-х годов XIII века между ними началась вражда, изобиловавшая, как всегда, нападениями, засадами, кровавыми расправами, уличными стычками. Первоначально они носили характер обычных проявлений кровной мести, но постепенно в распрю были втянуты широкие городские круги, которые сделали фамильные гербы обеих ветвей знаменем собственных социальных расхождений, и смуты в городе приняли такой характер, что в 1296 году обращение к Флоренции с просьбою принять над ними протекторат представлялось гражданам Пистойи единственным способом умиротворения.

Флоренция приняла предложение и назначила в Пистойю своего подесту, который старался поддерживать в городе мир тем, что во все городские коллегии сажал поровну «черных» и «белых». Сначала это удавалось, но когда в конце 1299 года беспорядки вспыхнули вновь, вожди обеих групп были высланы во Флоренцию. Там они нашли приют и поддержку по родственным связям. «Белые» Канчельери поселился у

старого Лапо деи Черки, дяди Вьери, а «черные» — у Фрескобальди, вся семья которых за исключением одного Берто, нам знакомого, была на стороне Донати. Начались интриги, и так как власть в это время уже была в руках Черки, то они могли оказывать большие услуги «белым» Канцельери в самой Пистойе через флорентийских правителей. «Черные» Канцельери апеллировали к Донати, а через Донати в Рим.

Таким образом насильственное водворение пистойоких «белых» и «черных» во Флоренции не только не помогло самой Пистойе, но усилило раскол в самой Флоренции настолько, что названия «белых» и «черных» мало-помалу прочно пристали к партиям Черки и Донати. С весны 1300 года и особенно с приората Данте их чаще всего уже только так и именовали. «Белыми» была партия пополанов, руководимая Черки и державшая власть, «черными» — Донати, дворянская группа, послушно следовавшая указаниям Рима, передававшимся через Акваспарту. Подстрекательствами кардинала нужно, повидимому, объяснить и новое буйство дворян в канун дня Иоанна-Крестителя, патрона-покровителя Флоренции, 23 июня. В этот день ежегодно устраивалась торжественная процессия в Сан Джованни, в которой участвовали члены всех цехов, в праздничных одеждах, со старшинами впереди: настоящий боевой смотр пополанских сил. Не-члены цехов, в том числе дворяне, стояли по тротуарам, не имея права примкнуть к процессии, и вынуждены были выдерживать, нужно думать, насмешливые взгляды цеховых людей. И в одном месте дворяне не выдержали. С криками: «Мы побеждали при Кампальдино, а вы оттеснили нас от должностей и от власти в городе» — они накинулись на цеховых старейшин и основательно их потрепали.

Такие выступления, конечно, не могли способствовать ни умиротворению города, к которому якобы стремился «миротворец» кардинал Маттео, ни его собственной популярности. И, конечно, ни в какой мере не способствовал выполнению той задачи, которую возложил на него папа, т. е. амнистии Симоне Герарди с товарищами. Новые приоры подтвердили решение своих предшественников, а когда кардинал внес предложение о том, чтобы впредь при выборах в коллегию приоров господствовал паритет между «белыми» и черными», приоры даже не передали его в советы, а отклонили с места.

Эти настойчивые выступления, «миротворца» до такой степени обозлили пополанов, что однажды, когда кардинал стоял у окна архиепископского дома, где он жил, один из пополанов пустил в него стрелу из арбалета. Она не попала в него и воткнулась в оконную притолоку. И была очень красноречивым свидетельством того, как

флорентийские граждане относились к папе и к его маклеру во Флоренции.

15 августа коллегия, к которой принадлежал Данте, кончила свой срок. Одним из ее последних актов, повидимому, было постановление об амнистии высланным в Сарцану вождям «белых», в числе которых был теперь уже смертельно больной Гвидо Кавальканти. Они вернулись во второй половине июля.

Кардинал обратился к новой коллегии — уже в третий раз — с требованием отменить приговор против Симоне Герарди с товарищами и снова получил отказ. Тогда, — ибо папа настаивал на решительных мерах, — он отлучил от церкви подесту, капитано, приоров, гонфалоньера, членов всех советов, некоторых отдельных граждан и, облегчив душу столь богоугодным делом, покинул Флоренцию (конец сентября 1300).

Для Данте наступил момент, когда он, не стесняемый уже официальным положением, обязывающим к выдержке, мог отдаться политической деятельности.

Бонифаций находился на вершине своего могущества. Он только что объявил 1300 год первым юбилейным годом, *anno santo*. Значение его было двойное. Для масс «святой год» означал, что всякий, побывавший в этом году в Риме, механически получал отпущение грехов. Для папской казны и папских банкиров он означал огромный прилив пилигримов и поступление колоссальных денежных сумм. Церковная агитация и коммерция шли об руку и ведущим стимулом была коммерческая выгода. Отношения с империей, где шли смуты, были спокойные, с Францией — удовлетворительные. Надутый гордыней, папа становился все более непреклонным в своей итальянской политике. Ее направляли не интересы церкви, а семейные интересы. Подчинение Флоренции было первым пунктом этой династической программы рода Гаэтани. Отлучение головки «белых» — первым шагом на пути практического осуществления этого первого пункта.

Положение «белых» и особенно лидеров партии, Черки, было трудное. Они не могли склониться перед папской волею, потому что это немедленно привело бы к разрыву с пополанской массой. Но они не могли идти со всей решительностью против папы, потому что интердикт мог подкосить все благосостояние крупной буржуазии. Ведь следствием интердикта, если он был наложен на весь город, было то, что все граждане этого города

оказывались вне закона. Все верующие христиане получали право безнаказанно ограбить и убить любого жителя этого города. Все сделки, заключенные с ними, после интердикта теряли силу: должники могли им не платить, те, у кого были на комиссии их товары, могли их не возвращать, государи, на чьих территориях оказывались их товары, могли их конфисковать и т. д. Если отлучение падало на отдельных людей, действию его подвергались только они. Поэтому политика Черки была полна нерешительности и колебаний. Не уступать, но и не переть на рожон, а вести дипломатическую игру и избегать решительных действий.

Поэтому для поздравления папы с юбилеем была отправлена специальная депутация, которую папа принял милостиво: именно ей, повидимому, он сказал свою известную фразу, что флорентинцы — пятый элемент мироздания. Это было до отлучения. После отлучения сейчас же стали думать о том, как уговорить папу снять его: беспокоили, конечно, не муки на том свете, — их флорентинцы не очень боялись: еретическая культура свое дело делала, — а убытки на этом свете. 11 ноября соединенная депутация Флоренции и союзных с ней городов Гвельфской лиги получила аудиенцию у папы, целовала его святейшую туфлю, говорила покаянные слова и умоляла снять отлучение. Папа соизволил временно приостановить действие интердикта. Во Флоренции были довольны и в благодарность пошли навстречу папе в ряде важных вопросов.

Политика Черки, полная колебаний, вялая и уступчивая, вызывала у одной части «белых» определенно отрицательное отношение. Была группа, которая требовала большей твердости, большего достоинства и большей решительности в отношениях к папе. Это были пополаны, менее богатые, не имевшие ни больших капиталов, ни большого количества товаров за границами флорентийской территории. В партии «белых», бывшей еще не так давно монолитной, появилось фракционное деление. Откололось радикальное крыло. Главою его был Данте Алигиери.

Уже давно носились слухи, что Бонифаций договорился с братом Филиппа Красивого французского, Карлом Валуа, по двум вопросам: что он станет во главе экспедиции в Сицилию — нужно было вернуть остров неаполитанским анжуйцам — и что он завоюет Флоренцию и подчинит ее папе. Слухи гласили, что Карла уже скоро ждут в Италии. Что за человек был Карл Валуа, все во Флоренции более или менее знали. Это был один из тех бандитов королевской крови, которых много ходило по лицу земли в то время: кондотьер худшего сорта, лишенный чести и совести, за деньги готовый на все. У всех было в памяти его недавнее предательство по

отношению к графу Фландрскому, который доверился ему и которого он выдал Филиппу, своему брату, его заклятому врагу. Вся партия «белых» была согласна в том, что нужно дать отпор готовящемуся разбойничьему нападению. Но Черки по обыкновению был того мнения, что не нужно раздражать папу открытыми приготовлениями к борьбе, а радикалы настаивали на необходимости решительного образа действий.

В июне 1301 года в советах произошли голосования, которые показывали, что раскол в партии уже назрел. Папа требовал, чтобы флорентинцы послали ему для поддержки одной из военных его экспедиций отряд конных рыцарей. Двое ораторов Совета так высказались за посылку отряда. Данте решительно восстал. Голосование отложили. На другой день Данте поддерживал свою точку зрения, но его мнение собрало лишь 26 голосов против 41. Большинство было на стороне Черки и избегало прямых действий. В сентябре того же года на соединенном собрании обоих советов поэт требовал сохранения в полкой силе «Установлений справедливости» и поддержания власти королю, т. е. полноправных граждан. Именно ему, нужно думать, принадлежала инициатива предложения распространить право избрания в приоры на все цехи, в то время как до этого момента такое право принадлежало только семи старшим и пяти средним. Смысл предложения был ясен. Карл Валуа уже был у папы в Ананьи, — мы сейчас это увидим, — «черные» работали изо всех сил. Нужно было укрепить пополанскую власть, раздвинув ее социальную базу — обычный прием олигархического правительства в дни опасности. Но Черки, которые только и говорили о переговорах, о дипломатических шагах, об уступках, конечно, были неспособны предложить эту меру. Ибо шаг был боевой. Наоборот, с теми настроениями, которыми жил Данте в это время, мысль укрепить положение партии «белых» с помощью народа гармонировала вполне. Это означало возврат к политике Джано делла Белла. И ведь недаром поэт упоминает с таким сочувствием, хотя и не назвал его по имени, творца «*Ordinamenti*» в «*Рае*». Данте выступал и еще: 20 и 28 сентября, но сведений об этих выступлениях не сохранилось. Во всяком случае ясно, что он уже не рядовой политик, коим был до своего приората, а видный деятель.

Руководство радикальным крылом партии «белых» лично для Данте имело то значение, что облегчило ему смену вех в дни изгнания. Ибо радикализм означал готовность к решительному отпору против папства во имя суверенных прав флорентийской коммуны, которой угрожала папская агрессия. В изгнании изменилась вся ситуация, а флорентийская позиция по отношению к папству облегчила переход к гибеллинам.

Пока Черки во Флоренции призывали к мягкой политике по отношению к папе, Карл Валуа неторопливо совершил свой путь в Италию. 18 июля он был в Милане, в начале августа в Сиене, 2 сентября в Ананьи, где его ждал папа. По дороге его всюду приветствовали «черные», изгнанные из Флоренции, «черные», изгнанные из Пистойи, их тосканские и романьольские единомышленники, осыпали его речами и подарками, и в Ананьи Карл приехал уже надутый важностью и с совершенно несуразными требованиями.

В Ананьи собралась настоящая биржа, т. е. та денежная держава, которая устроила поход Карла. Здесь были кроме Спины, которые по обыкновению руководили всем и финансировали всю затею, двое Францези, тоже банкиры и тоже флорентинцы, Мушатто и Биччо — по-французски *Mouche et Viche*, которые приехали с принцем из Франции, заранее купленные золотом Спины и трубившие всю дорогу ему в уши о том, что «черные» — ангелы, а «белые» — исчадие ада. Тут же был и Карл II Анжуйский и с ним его банкиры, Барди, опять-таки флорентинцы, и черные.

Папа, которого Якопо Гаэтани обрабатывал с глазу на глаз своими специальными аргументами, одобрительно кивал головой и нужно-не нужно благословлял и Карла, и его спутников, и анжуйцев, и «черных», и в конце концов дал Карлу 200 000 флоринов за предстоящие труды.

19 сентября Карл, сытый по горло золотом и благословениями, выступил в Сиену и разослал во все тосканские города гонцов с приглашением прислать к нему послов для переговоров. В том числе и во Флоренцию. Во Флоренции царил величайшая растерянность, совершенно непонятная. Сам по себе, со всеми своими рыцарями и со всеми «черными», его союзниками, Карл не должен был представляться опасным врагом. Во всяком случае за своими новыми стенами Флоренции не приходилось его бояться. Денег в городе было много, граждане, которые недавно еще разбили аретинцев под Кампальдино, сражаться не разучились. И тем не менее паника была такая, что захватила самых мужественных. Объяснение сколько-нибудь правдоподобное может быть одно: пополаны боялись, что если дело дойдет до сражения, то наиболее беспокойная часть горожан, дворяне, которые еще недавно кричали: «мы били врагов при Кампальдино», — соединятся с «черными», ибо они все были откровенно или втайне приверженцами «черных». И потом из-за

спины Карла Валуа ведь все время выглядывала фигура Бонифация, потрясавшая перунами интердикта.

Словом, решено было идти на переговоры. Послы ездили из Флоренции в Сиену и в Рим, из Сиены во Флоренцию. Карл уверял, что у него одна забота — примирение «черных» и «белых». Бонифаций, пока результаты переговоров были неясны, приказывал объявить, что у него в мыслях никогда не было овладеть Флоренцией. Оба клялись, что конституция флорентийская не будет нарушена, что никто из флорентинцев не пострадает. И просили об одном: чтобы Карл был допущен в город. Мы не знаем, как действовал Данте со своей группой и что он говорил. Но совершенно ясно, что его уже не слушали. Легковерие и страх овладели правителями города. Измена поднимала голову кругом. Корысть жадно щелкала зубами. История Флоренции не очень богата проявлениями героизма: с купеческой психологией героика уживается редко. Но такой эпидемии малодушия, слепого и отупелого, город, кажется, не переживал никогда.

Соглашались на все требования и верили всем уверениям заклятых врагов. С каким-то сладострастным упоением спешили навстречу катастрофе. И получили то, что заслужили. 1 ноября 1301 года Карл Валуа вступил в город, радостно приветствуемый «черными», раболепно встреченный «белыми». Собrania Советов происходили в присутствии закованных в железо бургундских рыцарей Карла, стоявших с обнаженными мечами. Советы решали все, что принцу было угодно. Послы, бывшие у Бонифация, привезли от него уже другие речи: что он требует полного подчинения своей воле. Карл настаивал на вручении ему полномочий для проведения миротворческой миссии и заодно на передаче ему ключей от трех городских ворот в Ольтарно, причем обещал, что будет охранять их согласно указаниям Синьории — так стали уже называть коллегия приоров. Полномочия были даны, а в ворота, в первую же ночь после того, как охрана их перешла в руки французов, был выпущен Корсо Домати со своими.

Это было 5 ноября. Карл показал, что он все еще первоклассный мастер измены.

Начался погром. К Корсо сейчас же присоединились находившиеся во Флоренции «черные», люди Карла Валуа, а потом все уголовные элементы, которые были выпущены Корсо из тюрем. Пять дней громили город преступники всех рангов, озверелые от жажды мести, от жажды крови, от жажды наживы. И таково было ослепление «белых», что когда Скъятта деи Канчельери, начальник отряда из трехсот рыцарей, находящегося на службе

у города, предложил ударить на рассыпавшихся по городу грабителей и уничтожить их вместе с французами, Вьери деи Черки запретил, говоря, что все уладится. Но дома и дворцы продолжали разрушаться, освещая заревом своих пожаров ночную тьму, людей продолжали убивать, женщин и девушек продолжали насилловать, имущество продолжали грабить. А когда погром слегка улегся, 9 ноября, Карл, которому приоры раболепно уступили право назначения главных должностных лиц в городе, назначил подестою Канте деи Габриелли из Губбио, находившегося в его свите и заранее подобравшего себе всю подручную банду: судей, приставов и т. д.

На этого авантюриста-проходимца, нажившего во Флоренции богатства и вековую каинову печать, была возложена задача превратить погром в закономерное вымогательство и убийства физические в убийства политические. Это делалось просто. В качестве верховного судьи он призывал к ответу всех политических противников Донати и облагал их штрафами. Если те не могли платить, он приказывал разрушать их дома. А потом подвергал их изгнанию. Он помог Карлу и «черным» выжать из противников столько денег, сколько было можно, причем, конечно, не забывая и себя.

Так кончилась конкуренция банкирских домов Спино и Черки. Черки были изгнаны и из своих колоссальных капиталов могли спасти только малую часть. Правда, и этого было достаточно, чтобы они оказались в силах отвечать по своим коммерческим обязательствам в ближайшие годы и еще сверх того уделять очень большие суммы на политические цели. Спино получили полную свободу действия во Флоренции и могли развернуть свою коммерческую предприимчивость еще шире. А множество людей, отдававших политической работе кровь своего сердца и сок своих нервов совершенно честно, с верою в свое дело, воодушевленных идеалами, — постигла катастрофа. Они были растерты между двумя тяжелыми жерновами крупного капитала.

Данте Алигиери был в числе попавших в эту катастрофу. Его политическая деятельность была настолько откровенно враждебна папе и «черным» и в рядах «белых» он занимал такую радикальную позицию, что машина юридических убийств, которая называлась судом подесты, не могла не захватить его своими колесами. При вступлении во Флоренцию Карла Валуа Данте, повидимому, был в городе: едва ли он мог быть в числе посланцев к папе, как гласит старая традиция. Когда 18 января 1302 года начались процессы, он должен был понять, что его не минует горькая чаша. Чтобы приготовиться к худшему, у него был срок. Раз за разом Канте деи Габриелли присуждал к штрафам и изгнаниям то того, то другого из

«белых». Раз за разом гонфалоньер с собачьей покорностью ехал верхом к домам осужденных, чтобы присутствовать при том, как будут разрушать их до основания. Беспреданно сопровождаемые плачем и стенаниями, покидали город единомышленники поэта. 27 января настал и его черед. За свою борьбу против «черных» он был присужден к уплате 5 000 лир и двухлетнему изгнанию за пределы Тосканы с конфискацией имущества и срытием до основания дома. Ему было предписано кроме того в трехдневный срок явиться к подесте. То, что Канте собирался сказать ему или сделать с ним, объявлено не было, но приказ был строгий. Данте, конечно, не явился. У него было время обдумать свое положение, и ему не приходилось дожидаться, чтобы перед его домом затрубила труба пестро одетого герольда подесты, судебная повестка XIV века. Герольд уже не застал его. Данте покинул родной город, не предчувствуя, что не увидит больше никогда «прекрасной овчарни, где спал ягненком» и что его «милый Сан Джованни» никогда больше не примет его под свою ласковую сень.

После отъезда Данте во Флоренцию явился ее старый супостат Маттео Акваспарта. Папа приказал ему последить, чтобы «белым» не оказывалось никакого излишнего снисхождения: как будто Корсо Донати и Канте деи Габриэлли нужно было еще поощрять к жестокостям. И, быть может, присутствием кардинала, который не забыл стрелы из арбалета, воткнувшейся в окно рядом с его головой, объясняется, что вторичный приговор по делу Данте, заочный, был еще более суровый.

Когда в определенный подестою срок ни Данте, ни его товарищи по приговору не явились, Канте обогатил свой первый вердикт прибавкою, где говорилось, что так как неявка осужденных была знаком их сознания в вине, они присуждаются к сожжению живыми на костре. Это было 10 марта. Дом Данте был срыт до основания отрядом рыцарей подесты и гонфалоньера, которые при сотрудничестве 150 каменщиков чисто и скоро проделали свою работу^[14].

Уехал Данте, по всей вероятности, с женою и детьми, так как законы белого террора требовали изгнания и всех домочадцев. Позднее когда ярость «черных» угмонилась, Джемма и дети, нужно думать, вернулись домой. Она ведь была Донати. И никогда больше не возвращалась к мужу. Она жила во Флоренции и растила детей борясь с тяжелой нуждою.

Свое изгнание поэт изобразил в пророчестве Каччагвиды словами суровыми, полными сдержанной печали и огромного достоинства («Рай», XVII).

Как Ипполит, под бременем кручины.

По злобе мачехи оставивший Афины,
Покинешь милую Флоренцию. О том
Хлопочут и того добьются люди вскоре.
Которые ведут постыдный торт Христом.

Ч.

«Люди»— это, конечно, Бонифаций и его клика, продающие для обогащения многочисленной папской родни духовные должности.

Покинешь все ты вопреки желанью.
Что ты любил: вот первая стрела,
Которую извергнет лук изгнанья.
Как горек хлеб чужой и полон зла,
Узнаешь ты, и попить легко ли
Чужих ступени лестниц без числа.

М.

За первой стрелой должны были последовать многочисленные другие:
с промежутками, но беспрестанно. До конца.

Глава IV

Меч эмигранта и посох изгнанника

1

«Ах, если бы владыка вселенной устроил так, чтобы и другие не были передо мною виноваты, и я не терпел кары несправедливой, кары изгнания и бедности! Ибо было угодно гражданам прекраснейшей и славнейшей дочери Рима, Флоренции, исторгнуть меня из сладчайшего ее лона, где я родился и был вскормлен, пока не достиг вершины своей жизни, и где я хочу от всего сердца с миром для нее успокоить усталый дух свой и окончить дни, мне отмеренные. И пошел я странником по всем почти городам и весям, где говорят на нашем языке, чуть не нищенствуя, показывая против своего желания следы ударов фортуны, которые очень часто и несправедливо ставят в вину потерпевшему. Поистине стал я кораблем без ветрил и без руля, которого противные ветры, раздуваемые горестной нуждой, гоняют к разным берегам, устьям и гаваням. И казался я низким взору многих, которые, быть может, по некоей молве обо мне представляют меня другим. В мнении этих людей не только была унижена личность моя, но потеряли цену и творения мои, как уже написанные, так и предстоящие. Причина этого (не только в отношении меня, но и в отношении всех), чтобы указать ее здесь вкратце, заключается в том, что слава, когда приходит издалека, раздувает заслуги выше действительных размеров, а присутствие уменьшает их больше, чем по справедливости следует».

Так оплакивал свою судьбу Данте в «Пире», когда значительная часть испытаний, быть может худшая, была уже позади, и эти жалобы даже через шестьсот лет нас волнуют, потому что мы представляем себе, какие муки должен был терпеть этот гордый человек, чтобы написать такие слова. Судьба действительно была к нему беспощадна. Борьба, которую он вел во Флоренции, в его глазах была борьбою за независимость родного города, борьбою против папы, который на эту независимость покушался. Распря «белых» и «черных» сама по себе не имела для него большого значения. И если бы ему позволено было знать, что раньше, чем сгнили кости убитых в дни флорентийского погрома, Филипп IV поссорится с Бонифацием и что

Бонифаций умрет, уничтоженный, разбитый горем раньше, чем пройдет два года после погрома, он, быть может, не поставил бы на карту все свое будущее. Донати были ему неприятны, как могут быть неприятны люди с преступной натурой благородному человеку. Но и Черки не пользовались у него большими симпатиями. Чтобы просто дать перевес Черки над Донати, незачем было рисковать всем будущим. Игра не стоила свеч. Но переделать уже ничего было нельзя, ибо «белые» заключили союз с гибеллинами, т. е. врагами уже не «черных», а Флоренции вообще, и распря «белых» и «черных» из второстепенного обстоятельства, каким представлял ее себе Данте, стала основным политическим — фактом ближайших лет. Он не понимал и, вероятно, не понял до конца своих дней то, что было ясно таким людям, как Дино и Джованни Виллани: что планы Бонифация против Флоренции были обстоятельством второстепенным, а главным было соперничество двух банкирских домов: Спины и Черки.

Смерть Бонифация могла бы сильно смягчить противоречия, если бы «белые» не испортили дела союзом с гибеллинами. Этот союз укрепил непримиримую позицию Корсо Донати, поддерживаемого по-прежнему Джери Спины: банкир еще не чувствовал себя в достаточной мере финансовым диктатором Флоренции, чтобы с легким сердцем пустить назад Черки, особенно после того, как его фондако в Ананьи был разгромлен и разграблен дочиста в день нападения французов на Бонифация (7 сентября 1303 г.). Убытки Спины были, конечно, не такие, как убытки Черки после флорентийского погрома, но все-таки возвращать старых конкурентов для Джери было совершенно немыслимо. И то, смерть Бонифация (11 октября 1303 г.) не дала ему возможности окончательно закрепить свою финансовую победу. Правда, незадолго до смерти, летом 1303 года Бонифаций, конечно, по совету Спины, назначил банкирами курии, вместо временно приостановивших платежи Моцци, давних банкиров анжуйского дома в Неаполе, Барди; Моцци были «белые», Барди — «черные», дружественные Спины.

Союз «белых» с гибеллинами совершился как-то сам собою: когда перуны Канте деи Габриэлли заставили вождей «белых» покинуть Флоренцию, им нельзя было, под угрозой быть выданными, показаться ни в одном из городов, входивших в Гвельфскую лигу. Даже Сиена, прежний оплот гибеллинов, теперь была в дружбе с «черными». Только Пистойа, продолжавшая оставаться в руках «белых», да старые гибеллинские гнезда Ареццо с Пизой представляли известные гарантии. Но Пистойа находилась слишком близко к Флоренции и должна была неминуемо попасть под удар, а по дороге к Пизе лежала территория Лукки, вернейшего союзника

«черной» Флоренции. Поэтому большинство эмигрантов, даже не сговариваясь, сошлось в Ареццо. А там уже давно приютились гибеллины, самые непримиримые, те, которые по миру кардинала Латино не были возвращены. Семья Уберти, не сломленная столькими несчастьями, гордая по-прежнему, была во главе. Судьба связала гибеллинов с «белыми». Начались переговоры. Мало-помалу в Ареццо потянулись и те изгнанники, которые были рассеяны по другим местам. Вьери деи Черки с родичами был тут. Из своих несметных богатств он спас столько, что мог легко финансировать самую широкую интервенцию. Старые гибеллины, помолодевшие от одной надежды увидеть родину, загорелись былым боевым пылом, творившим чудеса при Монтаперти, и требовали похода. На съезде в Сан Годенцо в июле 1302 года были обсуждены стратегические планы и финансовые вопросы, и военные действия начались.

Но у «белых» было много хороших воинов — и не было полководца, было много патриотов — и ни одного настоящего политика, было много дельцов — и ни одного дипломата. После первых незначительных успехов их дела пошли совсем плохо. Подестою Ареццо был выбран Угуччане делла Фаджола, которого, — а он был гибеллином, — Бонифаций дарами и обещаниями уговорил выгнать из города «белых». Они потеряли таким образом очень удобную базу. А в те самые летние месяцы, когда Карл Валуа трусливо и бездарно сражался в Сицилии против арагонцев — это было потруднее, чем покорять мирных жителей — и в конце концов согласился на позорный мир, Гвельфская лига неизменно была эмигрантов и тех союзников, которых им удавалось к себе привлечь. Результатом этих неудач была все увеличивавшаяся деморализация в лагере «белых», взаимные обвинения, дразги, склока.

Данте участвовал и в Сан Годенцком совещании и, быть может, в первых военных действиях. Что он делал в течение лета и осени, мы не знаем. Есть указание, что при обсуждении новых военных планов он высказывался против зимнего похода и что, когда весенняя кампания окончилась неудачно, вину за поражение свалили на него. И были не только нарекания, но возможно даже и покушения. Что бы ни было, ясно одно: для Данте дальнейшее пребывание в штабе «белых» оказалось невозможно. Он порвал и с этим осколком родины и, уже совсем один, пустился по свету, сжимая в руках тяжелый посох изгнания.

Нет ничего удивительного, что Данте порвал с эмигрантами. Он тоже не был ни крупным политиком, ни искусным дипломатом. Но у него была отличная голова и он умел распознавать людей. Во всей компании эмигрантов он не видел ни одного человека, которому можно было

довериться. А кроме того, он потерял веру в возможность победы. Он скоро понял, что Флоренция и Лига, даже если они не будут получать помощи от папы, сильнее, чем эмиграция, и что при том безголовьи, которое царило в лагере «белых», успех невозможен. Личные нападки на него, очевидно, просто переполнили чашу. Для спасения родины от папских покушений он пожертвовал всем и готов был отдать жизнь за дело, которое он считал правым. И вдруг его упрекают, его в чем-то обвиняют, на него набрасываются, на него покушаются. С такими людьми он не может идти об руку. Родина изгнала его, а от изгнанников он уйдет сам.

В «Комедии» Данте дважды касается этого эпизода. Сначала в «Аде» (XV), где в уста своего учителя-друга, Брунетто Латини, он вкладывает такую тираду:

Тебе судьба готовит столько славы,
Что тем и этим будешь нужен ты,
Но далеко от клювов будут травы...

Г.

В поэме стоит: «по тебе будут голодны обе партии», что определенно указывает на политические организации, а последний стих — флорентийская поговорка, соответствующая той, которая по-русски гласит «у них руки будут коротки». Смысл слов Брунетто таков: «на тебя будут щелкать зубами обе партии, но ты никому не попадешь в руки». Первая партия — «черные»: Канте деи Габриелли щелкал зубами очень кровожадно, но Данте избежал его когтей. Вторая — «белые». Что щелкали зубами и эмигранты весной 1303 года — и тоже неудачно — явствует из тех слов, в которых Каччагвида продолжает свое пророчество («Рай», XVII).

Всего ж сильней отяготит в неволе
Тебе плечо — сброд извергов, глупцов,
С которыми падешь ты в той юдоли.
Восстанет он — бездарен, глуп, суров —
Весь на тебя, но вот спустя немного
Не ты, а он, — падет с позором в ров

М.

В тексте говорится: «разобьет голову», что обыкновенно понимают как намек на решительную победу Флоренции над эмигрантами при Ластре в июле 1304 года, когда Данте уже давно с ними расстался. И три последних прилагательных, которые не уместились в русские стихи, не совсем те: в дантовы термины умещалось все, что он хотел сказать. А сказать он хотел, что его товарищи оказались «неблагодарны, безумны и несправедливы». И он имел право бросить им эти обвинения, потому что они забыли про его заслуги перед общим делом, несправедливо его обвиняли, безумно бросились в авантюру, не подготовив толком ничего для ее успеха.

Вывод из всего пережитого Данте в этой первой его попытке вернуться на родину насильно был тот, что он раз навсегда отказался быть членом партии. И сказал себе и потомкам устами все того же Каччагвиды («Рай», XVII):

И явится их глупость тем яснее
И все твои усилия направит,
Чтобы сам ты стал всей партией своей.

Г.

Что это должно было означать?

Это означало, что поэт, лишившись надежды вернуться на родину, отказывался принимать участие в ее общественной жизни. «Черные» были враги. «Белые» стали недругами. Между теми и другими не оставалось места для сколько-нибудь влиятельной группы. Он и будет «сам себе партией», т. е. останется вне партий.

Но это решение определяло только флорентийскую позицию Данте, т. е. такую, которая перестала быть для него реальностью. Оно отнюдь не определяло всякую его позицию, ибо пускаясь с посохом и сумою в странствования по городам и весям Италии, не зная, что ждет его дальше, он отнюдь не мог сказать наперед, каковы станут его новые отношения с новыми людьми.

Первым его приютом была Верона. Это также стояло в пророчестве Каччагвиды («Рай», XVII).

Ломбардец, лестницу имеющий с орлом
В наследственном гербе, убежище, как другу,
Тебе немедля даст в жилище у себя,
Без просьбы оказав столь важную услугу,
И будет взор его приветен для тебя.

Ч.

«Великий ломбардец» — это Бартоломмео делла Скала, сын Альберто, старший брат Кан Гранде, настоящего основателя могущества веронской державы делла Скала. Данте мог познакомиться с ним, побывав у него в качестве посла «белых», а когда судьба сделала его вдвойне бездомным, он постучался снова в его дверь. Это было в духе не очень давней традиции. Провансальские трубадуры, выгнанные из родной земли мечами крестоносцев и кострами инквизиторов, подолгу оседали при дворах ломбардских тиранов. Даже Эццелино да Романо в этой же самой Вероне, мы знаем, встречал их ласково. И, конечно, никто из трубадуров не мог даже отдаленно идти в сравнение с Данте, даже с тем Данте, в поэтическом багаже которого кроме «Новой жизни» было всего только несколько канцон и сонетов. Прием Бартоломмео, как показывают приведенные стихи, был таков, что Данте мог жить в Вероне со спокойной совестью и исполнять почетные поручения, которые на таких гостей иногда возлагались. Но Бартоломмео умер весной 1304 года, а его преемника Альбоино поэт помянул недобрым словом в «Пире». Это нужно истолковать, очевидно, так, что при Альбоино жизнь в Вероне для Данте стала очень неудобной, и он покинул город, где так хорошо провел около года.

Что было с ним в следующие три года, мы не знаем. Данте сам гордо молчал, и лишь по случайным намекам в его позднейших вещах угадываются если не факты, то переживания, ими вызывавшиеся. Это была скитальческая жизнь, полная лишений. Гордый человек, не всегда «снисходивший до разговора с непосвященными» (Д ж. Виллани), именно в эти годы, повидимому, познал в полной мере горечь чужого хлеба и крутизну чужих лестниц. Но в великом изгнаннике таились неисчерпаемые силы духа. Он странствовал, боролся с нищетой, учился и творил. По каким местам он странствовал? Можно только догадываться. Он искал в

Италии уголка, где был бы ему некоторый покой и сколько-нибудь подходящая обстановка для работы.

Однажды, вероятно в минуту самого большого отчаяния, быть может особенно грубо принятый каким-нибудь бароном, — он обратился с письмом — его видел Леонардо Бруни — к народу флорентийскому. Письмо начиналось трогательными словами: «Народ мой, что я сделал тебе?» В нем была просьба об амнистии. Оно осталось бесплодным.

Вполне возможно, что к этим годам нужно приурочить его пребывание в Болонье, о котором говорят Джованни Виллани и Боккаччо. Именно Болонья с ее старым университетом, с ее профессорами и докторами, с поэтическими традициями, не угасавшими после Гвидо Гвиницелли, вспоминается с величайшей настойчивостью при перелистывании стихов и прозаических страниц «Пира», полных такой учености. Вероятность пребывания Данте в Болонье подкрепляется еще и тем, что в «Пире» он цитирует такое количество сочинений как античных писателей, так и столпов схоластической философии, каким едва ли располагал другой какой-нибудь город Италии в это время. А «Пир» был написан, когда Альбрехт Габсбургский был еще жив, а один из тревизанских феодалов, граф Герардо дель Каммино уже умер. Эти даты определяют довольно точно время возникновения книги: не раньше февраля 1306 года и не позднее мая 1308 года (обе даты в последнем, четвертом трактате).

Скорее до пребывания в Болонье, чем после него, Данте, возможно, посетил и Падую. Это более правдоподобно как по территориальным соображениям, так и по хронологическим. От Вероны до Падуи рукой подать, а уже в октябре 1306 года Данте был, как увидим, в Луниджане. Следовательно, с весны 1304 по январь 1306 года включительно поэт мог провести в Падуе и Болонье, а с февраля 1306 года, когда подготовка материалов подвинулась достаточно, начал там же писать «Пир». Одновременно он работал и над сочинением «Об итальянском языке» («De eloquentia vulgari»). Осенью 1306 года он был уже в Луниджане, у маркизов Маласпина. 6 октября на торжественном акте примирения маркизов с епископом Луни, Антонио Камилла, Данте был представителем семьи Маласпина. Сначала в Сарцане он получил закрепленные письменным актом полномочия от маркиза Франческино, а затем в силу этих полномочий отправился вместе с нотариусом к епископу и там от имени Франческино, его кузена Мороелло и его племянников подписал соглашение и обменялся с епископом торжественным символическим поцелуем мира.



Доменико Микелино. Santa Maria del Fiore во Флоренции. Данте

Маркизы Маласпина, мы видели, были старыми покровителями поэтов и сами в XIII веке писали стихи, провансальские и итальянские. Трубадуры подолгу пользовались их гостеприимством и занимали в их свите почетное положение. А какого трубадура, более блестящего, чем Данте, можно было найти в это время в Италии? Государи этого маленького культурного гнезда в Маремме хотели поддерживать старую репутацию меценатов и просвещенных синьоров. Поэт не мог устроиться лучше. Дипломатическая миссия Данте была одним из тех почетных поручений, которые могли быть доверены только людям, имевшим определенную репутацию. Поэт должен был чувствовать себя хорошо в этой культурной придворной среде. И он был там не одинок. Между другими гостями Маласпина он встретил у них и своего старого знакомого Чино да Пистойя, такого же изгнанника из родного города, каким был он сам. Оба поэта, крупнейшие, какими могла гордиться в это время не только Тоскана, но и вся Италия, крепко сдружились между собою, обменивались сонетами на «обязательные рифмы»^[15] и когда кто-нибудь из членов семьи Маласпина изъявлял желание участвовать в состязании или шуточной стихотворной пикировке, поэты немедленно перелагали в сонет любую мысль. Дружба между Чино и Данте не распалась и после того, как оба покинули гостеприимный кров маркизов Маласпина. Долго еще обменивались поэты стихами, и в последних сонетах к Чино Данте жалуется на старость и на усталость. В Сарцане они были еще полны сил, и хотя испытания, пережитые Данте, уже избородили складками его высокий лоб, он чувствовал себя теперь гораздо лучше. В голове его роились снова

творческие замыслы и, хотя урывками, он работал много. Нужно думать, что и «Пир» и «Итальянский язык» получили свою окончательную форму — обе вещи не доведены до конца — в Луниджане.

Мы не знаем, что отрывало Данте от работ: обязанности его как придворного или отлучки. Мы не знаем, когда он покинул двор Маласпина и при каких обстоятельствах. Мы не знаем, связаны ли с Маласпина его поездки в горное отшельничество Фонте Авеллана, на горе Катриа, в Губбио, в Фаджола, в Казентино. Мы не знаем в точности даже и того, насколько достоверны экскурсии Данте в эти места. Вполне достоверной можно считать только четвертую: в Казентино, ибо одна из его канцон «L'amor da che convien ch'io mi doglia» («Любовь, которой мне скорбеть пристало») довольно определенно указывает, что она написана там. Предмет канцоны — куртуазные — а быть может и не вполне куртуазные — любезности по отношению к даме, которая давала ему приют в своем доме.

И наконец еще один эпизод, относительно которого нет твердой уверенности, — путешествие Данте в Париж. Самый факт не представляет собою ничего невероятного: Париж был полон итальянцами. Туда собирались купцы, банкиры, их агенты и приказчики. Туда ехали изгнанники, кто по делам, кто с политическими целями. Боккаччо, который родился в Париже в 1313 году, который от отца, постоянно жившего там в эти годы, мог знать об этом с достоверностью, — утверждает, что Данте был в Париже и даже рассказывает, с каким успехом он вел там диспуты. Кое-какие намеки в «Комедии», повидимому, подтверждают его пребывание там и ничто этому не противоречит сколько-нибудь убедительно. Но нет ни одного такого факта, который давал бы плоть и кровь этому известию.

Что же принесли Данте эти первые годы скитаний вне родины?

В последнее время во Флоренции Данте жил в кипучей политической обстановке, которая захватывала и увлекала его, перестраивала его психику. Если бы нормальный ход событий не был нарушен, Данте, быть может, сделался бы политиком такой настроенности, как Джано делла Белла, ибо основная его мысль заключалась в том, что для укрепления внешней мощи Флоренции необходимо отмерить несколько больше прав младшим цехам. Это не означало, что Данте порывал с крупной буржуазией, с которой он

идеологически был связан с 1283 года. Его единомышленники в советах, голосовавшие вместе с ним, все принадлежали к крупной буржуазии. Это были оттенки политических направлений в классово однородной группе.

Переворот, устроенный Карлом Валуа, и изгнание опрокинули все. Данте был вырван из привычной обстановки в такой момент, когда он не решил еще окончательно для себя, будет ли он продолжать политическую карьеру. В эмиграции он попал совсем в другую среду. Стан «белых» изгнанников не был организмом с правильным членением. Это была кучка людей, оторванная от социального базиса. Им приходилось делать политику, не имея над собой контролирующей сдержки и направляющего руководства пополанских масс. И наоборот, в их среде с каждым днем все большую и большую роль играли дворянско-гибеллинские элементы, которым Черки вынуждены были подчиняться, ибо без них об интервенции нельзя было и думать.

Мы знаем, что Данте очень скоро почувствовал отвращение к тем с кем ему пришлось делить горечь изгнания. Но душевно он был очень плохо защищен против классовых феодально-дворянских влияний. Людей он отверг, но не отверг вполне их идеологии. Городская атмосфера и связь с пополанскими массами успешно начали переплавлять его аристократические настроения. В эмиграции они снова окрепли. И если верно, что ему пришлось с различными миссиями бывать у союзных или привлекаемых к союзу с «белыми» баронов, то атмосфера их замков, несомненно, поддерживала происходившую в нем перемену. А когда он порвал с эмигрантами окончательно, сделался «сам себе партией», пошел просить пристанища по княжеским дворам и с ними связал свою судьбу, когда у князей за какие-то свои услуги он получил кусок хлеба, то дворянские настроения, порожденные новым бытием, столь отличным от городского, окрепли еще больше.

Значит ли это, что Данте связал свою судьбу с княжескими дворами окончательно? Конечно, нет. Он все время думал о Флоренции, тосковал о Флоренции, страстно стремился во Флоренцию, словно сознавал, что половина его души осталась там. Его внутреннее двоение — отражение тех социальных сдвигов, которые превращали феодальную культуру Италии в культуру буржуазную — только теперь становится явственным. И мы можем проследить за первыми трещинами в сознании поэта, изучая его стихи, «Пир» и трактат о языке.

«Пир», «Il Convivio», связан неразрывно с философскими канцонами. И столь же неразрывно он связан с латинским трактатом о языке «De eloquentia vulgari». Канцоны написаны гораздо раньше, чем «Пир» дал комментарий к ним. Самая ранняя из них — «Voi ch'intendendo il terzo ciel movete» («Вы, третье небо движущие знанием») — появилась не позднее 1295 года, она ровесница «каменным» канцонам. А «Пир», мы уже знаем, доведен до своего теперешнего объема не раньше 1306 года. «Об итальянском языке» писался приблизительно в одно время с «Пиром», и в «Пире» о нем говорится. А в самом трактате упоминается, как живой еще, маркиз Джованни Монферратский, который умер в 1305 году.

Если канцона «Вы, третье небо движущие знанием» написана не позднее 1295 года, то имеются и такие, которые написаны уже в изгнании, и не в первые его годы, например чудесная канцона «Tre donne intorno al cor mi son venute» («Три женщины пришли раз к сердцу моему»), где имеется стих

Изгнание мое за честь себе считаю...

Все философские канцоны находятся в связи с занятиями Данте в Санта Мария Новелла и с кругом его чтения. Когда бурные страсти, разбушевавшиеся после годовщины смерти Беатриче, стали утихать, успокоенные женитьбой и наукой, когда политическая деятельность открыла новый выход для темперамента, — Данте задался целью подвести некоторый итог своим занятиям — в стихах. Одна из канцов «Le dolci rime d'amor, ch'io solia» так и начинается:

Те рифмы нежные любви, что в думах
Искал привычно я,
Приходится мне бросить.

Быть может, не навсегда, «не потому, что он уже не надеется к ним вернуться», а потому что ему нужно говорить о других вещах «рифмой тонкой и суровой». Поэт, который стал вождем радикального крыла «белых» и требовал расширения социального базиса флорентийской конституции для более успешной борьбы с внешними врагами, сочинял одну за другой туманные, темные аллегорические стихи, где «благородная дама» оказывалась довольно прозрачным псевдонимом философии и где

особенно «тонкие рифмы», не дождавшиеся комментария в «Пире», так и остались непонятны не только для ремесленников младших цехов, с которыми Данте когда-то начал устанавливать политическую связь, но и для более образованной, но не очень ученой крупной буржуазии. С поэтом случилась странная вещь. Он вернулся к темному педантичному аллегоризму Гвиттоне д'Ареццо, т. е. оказался отброшенным далеко назад от прогрессивных поэтических позиций Гвидо Гвиницелли, воспринятых «сладостным новым стилем» во Флоренции. Какой поворот общественных настроений лежал в основе этой перемены поэтического стиля?

Точно установить его мы бессильны, так как у нас нет подробной хронологии всех философских канцон. Можно только высказывать предположения. Одно напрашивается особенно настойчиво и опирается на данные «Пира».

«Пир» задуман как некая энциклопедия, сделанная формально по тому методу, какой лежал в основе «Новой жизни». Каждая канцона должна была получить свой комментарий в виде особого «трактата», а всех трактатов, т. е. комментированных канцон, должно было быть четырнадцать, не считая первого, который является введением. Написано четыре трактата: первый — вводный, и три других, комментирующих три канцоны: во втором объясняется канцона «Вы, третье небо движущие знаньем», в четвертом — «Те рифмы нежные любви», а в третьем — «Amor, che nella mente mi ragiona» («Любовь, что у меня в уме ведет беседу»). Некоторые из канцон, не вошедших в состав «Пира» — одни сохранились, другие пропали, — несомненно вошли бы в него, если бы Данте продолжал его писать. Другие, которые по плану всего произведения для него предназначались, написаны, повидимому, не были.

Такова схема. Посмотрим прежде всего, с какой целью Данте в изгнании взялся писать этот громадный труд. Ведь четыре трактата занимают около 20 печатных листов. Сколько могло занять все сочинение! Цель его должна была быть очень серьезная. Так и было. Когда Данте покинул Верону и остался без пристанища, он снова почувствовал необходимость, как после смерти Беатриче, искать утешения в философии. И не только это. Ему захотелось показать всем и прежде всего своим согражданам — «черным», которые его изгнали, и «белым», от которых он сам ушел, — какого человека они лишились. Он мог обрести внутренний мир только в мысли, что его книга поднимет цену его в глазах всех итальянцев, в том числе и флорентинцев. То, что он говорил, свободно, творчески претворяя в поэтические образы свое мировоззрение, он теперь истолкует и подкрепит полновесной философской аргументацией: так хлеб

за трапезой подкрепляет и дает большую питательность легким блюдам.

Кто же тот читатель, к которому главным образом будет обращаться поэт? Он совсем не хочет иметь в виду ученых, для которых нужно было бы писать все сочинение по-латыни: иностранцам это не поможет, потому что они не поймут канцон, а итальянцам потому, что им не хватает благородства духа, необходимого для полного усвоения его мыслей: итальянские ученые преисполнены жадности, и словесность в их руках из дамы превратилась в блудницу. Подлинное благородство духа присуще «князьям, баронам и рыцарям, а также многим другим знатным людям, не только мужчинам, но и дамам». Для них и нужно было писать сочинение по-итальянски.

Данте ничего не говорит о горожанах. Он говорит об ученых, которых он не желает знать, и о дворянах, которых он хочет иметь в виду преимущественно. Значит ли это, что он честно выбросил горожан, в том числе флорентинцев, из своего кругозора? Едва ли. Даже больше того: несмотря на то, что он о них не говорит, они у него все время перед глазами. Он о них все время думает. Эти мысли причиняют ему горькую боль, и ему хочется, чтобы они, сограждане, его отвергшие, читая его рассуждения и не находя в них упоминания о себе, испытывали чувство недовольства и унижения. Им больше, чем кому-либо, он хочет показать, что не оскудели в нем ни поэтический дар, ни родники философской мысли, что ему есть что сказать людям и более высокого положения, чем они, что его идеология доступна дворянам и недоступна горожанам.

И новая идеология Данте, изложенная в «Пире», действительно представляет результат некоей смены вех. Оторванный от городской почвы, поэт ищет опоры в дворянско-феодальной. Если бы «Пир» был доведен до конца, мы имели бы в нем энциклопедию, приспособленную к требованиям и вкусам дворянского общества. В его четырнадцати трактатах должны были комментироваться канцоны, предметом которых являются «как любовь, так и добродетель». Какие же добродетели воспеваются в канцонах и дают потом материал для философского анализа в комментариях? Это прежде всего благородство — предмет канцоны «Те рифмы нежные» и четвертого трактата. И самая канцона, и комментарий говорят о благородстве как о добродетели, но во многих местах трактата проскальзывают намеки на то, что восхваляется не только «истинное» благородство как этическое понятие, сущность которого тут же устанавливается, а и благородство как понятие социальное, т. е. знатность. И это было логично, раз поэт обращается преимущественно к «князьям и баронам». В написанных трактатах не говорится о других добродетелях,

кроме благородства. Но в тех, что Данте не написал, должны были получить объяснение и канцоны о других добродетелях. В последнем трактате, например, должна была объясняться канцона «Doglia mi reca nello core ardire» («Печаль дает мне в сердце смелость»), которая восхваляет щедрость. Затем, неизвестно в котором трактате, должна была комментироваться канцона «Poscia ch'Amor del tutto m'ha lasciato» («Когда совсем меня покинула любовь»), где превозносится leggiadria, многочисленное слово, которое Данте в данном случае определенно понимает как любезность. Она состоит не в изящном обхождении, не в игре ума, не в светских удовольствиях, а в радости делать добро, свойственной благородным сердцам. Словом, все три канцоны о «добродетелях» — и комментированная, и некомментируемые — говорят о «добродетелях» феодального рыцарского общества. Данте ведь обращается к «князьям и баронам».

По-иному, но в том же смысле ставит вопросы о добродетелях та канцона, которая должна была быть предметом четырнадцатого трактата: «Три женщины пришли раз к сердцу моему» — быть может, самая красивая из всех дантовых канцон. Три женщины — аллегорические: прямота, щедрость и умеренность пришли стучаться в сердце поэта, как в некий приют, ибо знали, что там обитала Любовь. И «женщины» стали жаловаться, что они не находят себе места, что их отовсюду гонят, что их преследуют. Одна особенно убита горем. Она — сама скорбь, и слова ее — изливание скорби. Она опирается на руку, как подрезанная в стебле роза. Обнаженная рука, опора печали, ощущает луч слезы, падающей из глаз. Другая рука прикрывает заплаканное лицо.

И поэт, гордый тем, что ему приходится делить горькую судьбу с добродетелями, объявляет, что изгнание — для него честь. Ведь и добродетели изгнаны тем обществом, которое изгнало его. Данте хочет, чтобы они нашли приют у тех, кто способен понять сокровенный смысл его стихов.

Рука людей не тронет пусть покров твой, о канцона,
Чтобы увидеть, что прекрасная скрывает донна...

Тем, кто преследует поэта, недоступны глубины его творчества. Но они могут быть доступны «князьям, баронам и рыцарям». И три добродетели, как и остальные, должны найти убежище именно у них: прямота, умеренность и щедрость. Особенно щедрость. Уже целых две

канцоны Данте воспевают эту «добродетель». И поэту не кажется, что двух много. Ведь ему так было нужно, чтобы больше, больше цветов щедрости распустилось в сердцах его читателей.

Этих же читателей имел он в виду, когда набрасывал трактаты своего «Пира». Первый, мы знаем, является вступлением. В нем объясняется цель всего сочинения, его смысл и причины, почему он написан по-итальянски, а не по-латыни. Второй посвящен вопросам астрономии, говорит о девяти небесах, ищет соответствия между каждым небом и одной из наук, известных схоластической классификации (Луна — грамматика, Меркурий — диалектика, Венера — риторика и т. д.). И тут же доказывается бессмертие души. В третьем трактате излагается теория любви; а так как аллегорическая возлюбленная поэта не кто иная, как философия, то поются гимны философии и тому счастью, которое она дает любящим ее. Наиболее важный — четвертый трактат. Он самый большой: один занимает ровно столько места, сколько оба предыдущих. Предмет его, мы знаем, — благородство. Данте полемизирует с определением, данным благородству Фридрихом II Гоэнштауфеном, который говорил: «благородство — это владение богатством, истари соединенное с изящным образом жизни». Данте решительно восстанет против этой формулы, утверждая, что богатство не может создать благородства, ибо оно низменно по самому своему существу. Рассматривая дальше другие формулы, он отвергает их одну за другой. Его собственное определение таково: «Итак, ясно, что это слово, благородство, означает в применении ко всем предметам совершенство их природы». Прилагая эту общую формулу к человеку, Данте развертывает целую систему этики, обильно подкрепляя свои рассуждения цитатами из классиков, античных и средневековых.

В общем «Пир» представляет собою попытку пропитать идеализмом основные представления о мире и главным образом о человеке, выработанные феодальной культурой. Книга обращается к феодальному обществу и с нарочитым презрением относится к тому, что является основой общества буржуазного, к богатству. Филиппиками против богатства наполнены несколько глав четвертого трактата. Что богатство низменно по своей природе, мы уже слышали. Можно владеть очень большим богатством и с очень давних пор, — это не дает благородства. Мало того. Богатство дается в руки любому, и дурному человеку легче стать богатым, чем хорошему. У кого богатство, тот становится жадным, у него появляется страх его утратить, забота, которой раньше не было. Накопление богатства в одних руках сопровождается лишениями и разорением для многих других. Богатство является источником зла. Оно

уродует душу, отнимает у человека благодеяния щедрости. Мудрый не любит богатства и не огорчается, когда его теряет.

Так расценивает основную силу буржуазного общества горожанин и, что важно, флорентинец, Данте Алигиери. В каждой строке этих глав, особенно XI и XII, четвертого трактата чувствуется, как в нем клокочет гнев и обида против сограждан. Во всей книге нет другого места, которое было бы написано с большим темпераментом, чем эта филиппика против капитала. Феодальные бароны должны были читать ее с большим удовольствием и с большим удовлетворением.

Таков и был замысел Данте. Этого именно он хотел. Написать нечто такое, что всем показало бы меру его таланта, удовлетворило бы «князей и баронов», огорчило бы горожан. Но получилось все-таки не совсем то, что он хотел. Вероятно, «князья и бароны» были довольны. Возможно, что флорентинцы были недовольны. И тем не менее Данте в «Пире» не стал человеком последовательной феодальной идеологии. И не стряхнул с себя отпечатков буржуазной культуры.

Это сказалось прежде всего в вопросе о языке.

5

«Новая жизнь» была написана по-итальянски. И это не требовало объяснений. В ней комментировались сначала стихи, обращенные к даме, которая не знала по-латыни, а потом, когда она умерла — к ее обществу, которое знало латынь не больше. Кроме того комментарий, очень коротенький, был непосредственно связан со стихами; он не был задуман как нечто самостоятельное. Стихи были любовные, а любовных стихов, куртуазных или иных — все равно, — никто не писал по-латыни. Объяснить их по-латыни было бы смешно.

Иное дело «Пир». В нем комментарий к канцонам разросся настолько, что читатель очень часто, продираясь сквозь его схоластическую чащу, забывает, что он связан со стихами, стоящими в начале трех последних трактатов. Комментарий получил совершенно самостоятельное значение. А предмет его таков, что все без исключения, писавшие на эти темы до Данте, писали по-латыни. Выбор *volgare* нужно было объяснять, и объяснению посвящен почти весь вводный первый трактат. Мы видели, какими социальными мотивами оправдывает поэт свое решение. Они занимают очень незначительное место среди других. Главные аргументы — философские, неторопливые, обстоятельные, перегруженные общими

местами. Но из-под схоластического покрывала, который их затемняет, явственно вырисовывается, простая и убедительная мысль: что итальянский язык должен быть предпочтен латинскому, потому что он язык не избранных, а огромного большинства. «Это — ячменный хлеб, которым будут насыщаться тысячи... Это будет новый свет, новое солнце, которое взойдет тогда, когда закатится старое. Оно будет светить тем, кто находится во мраке и в потемках, ибо старое им не светит». Таков вывод. Ячменный хлеб в то время был самый вкусный, а старое солнце, которое массам не светит — это латинский язык.

Самое интересное в этой защите итальянского языка у Данте — кричащее противоречие в формулировке мотивов. Сначала объявляется, что латинский полезен немногим, а итальянский многим и «многие» — это «князья, бароны и рыцари» и под конец речь идет уже о «тысячах» и под «тысячами» с очевидностью подразумевается масса грамотных, а далеко не одно только дворянство, которое явно для всех составляло меньшинство в стране. Первая формула та, которой Данте хочет угодить дворянам и разочаровать горожан. Вторая — та, которая выражает его подлинную мысль, бессознательно рвущуюся наружу и высказывающую из-под пера. Он бы сдержал ее, если бы заметил, что он говорит. Но он не заметил. Написалось, как написалось. Душевное двоение нельзя было ни подавить, ни скрыть. Иначе быть не могло.

Данте понял, что будущее литературы принадлежит не латинскому языку, а итальянскому, и решил писать по-итальянски те свои вещи, которым он придавал наибольшее значение. Это решение представляло целую революцию. И какую!

Данте мог быть сколько угодно убежден в том, что он желает быть приятным дворянству и не боится быть неприятным для горожан. Он мог умышленно строить «Пир» так, чтобы в нем было собрано все, что могло представлять особый интерес для дворянства. И мог говорить, что пишет по-итальянски для того, чтобы быть понятным «князьям и баронам». Он писал для «тысяч», т. е. для грамотных горожан. А доказывал необходимость писать по-итальянски не бездомный эмигрант, смотревший из дворянских рук, а тот Данте Алигиери, который был приором в 1300 году, а потом вел за собою левое крыло «белых», представитель флорентийской пополанской массы.

Его почин отражал, конечно, социальный факт: что население итальянских городов, итальянская буржуазия, носительница культуры, класс, которому принадлежало будущее, нуждался в том, чтобы итальянский язык получил господство. Ибо он был ему нужен больше, чем

латинский. Правда, в это время все делопроизводство, судебные протоколы, нотариальные акты, законы и декреты, деловая переписка пользовались еще латинским языком. Но итальянский постепенно прокладывал себе дорогу. Джованни Виллани в 1300 году стал писать свою хронику по-итальянски и тем показал пример своим преемникам. С каждым годом сфера приложения итальянского языка в письменности ширилась и росла. Данте показал свою необычайную чуткость тем, что это понял. Но он не только понял это. Он не только утвердил за итальянским языком его права. Он создал итальянскую литературную речь. Он поставил потомство перед единственным в своем роде литературным феноменом. Возьмите любое произведение на любом европейском языке, писанное шестьсот лет назад. Вам будут нужны словари, куча всякий пособий, сложнейшие комментарии — иначе вы запутаетесь. Немец, француз, англичанин, русский — все будут в одинаковом положении. Язык Данте в этом не нуждается. Такие его вещи как сонет «Tanto gentile» в «Новой жизни», как канцона «The donne intorno al cor mi son venute» или как в «Комедии» повесть Франчески, страшная история Уголино, молитва св. Бернарда, и сейчас до конца понятны каждому итальянцу, как были понятны в начале XIV века. В его произведениях темно и вызывает необходимость объяснений больше всего то, что он затемнял умышленно аллегорией и символами, то, что он писал намеками, ясными для современников, но утратившими смысл очень скоро, или то, что, втиснутое в упругие терцины и в затейливые канцонные строфы, кривило и ломало до неузнаваемости самую простую грамматическую конструкцию. Одним исполинским усилием, одним гениальным взмахом Данте создал такой язык, который не старея живет шестьсот лет.

Это одна из величайших его заслуг перед итальянской культурой. В Италии росли «тысячи» новых людей, умеющих читать и развиваться на прочитанном. Данте почувствовал, что если писатель хочет влиять на своих сограждан, говорить для своего времени так, чтобы «крик его был подобен ветру, который потрясает самые высокие вершины», — он должен отбросить язык школы и ученых буквоедов, заговорить на том языке, который всем понятен.

Защита итальянского языка была исчерпана в «Пире». Трактат «Об итальянском языке», написанный по-латыни и не получивший сколько-нибудь широкого распространения (он дошел до нас только в двух списках), ставит себе другие цели. Он написан по-латыни, ибо это настоящее научное исследование, первое в Европе исследование по языкознанию. Оценить его способны были только специалисты-ученые,

которыми могли быть и не итальянцы. Трактат не окончен, как и «Пир». В первой книге речь идет о происхождении языка, о языках европейских, о различии между языком «условным» (латинским) и живым, народным, *volgare*, о делении европейских народных языков на французский (*oil*), провансальский (*oc*) и итальянский (*si*). Дойдя до этого пункта, Данте ставит вопрос, какой итальянский *volgare* нужно считать литературным языком или «высоким» *volgare*. И отвечает, — мы уже знаем, — что это тот *volgare*, понятный всем, который эстетически переработан писателями: язык Гвидо Гвиницелли, Гвидо Кавальканти, Чино да Пистойя и «его друга». Во второй книге начинается анализ поэзии и излагается теория канцоны. Дальше должны были идти отделы о сонете, балладе и других формах. Всего этого, т. е. всю заключительную часть своей поэтики, Данте написать не успел.

И еще в одном сказывается то, что Данте, вопреки желанию, нес в груди пополанские чувства.

«Пир» и «Язык» написаны по всем правилам средневековой учености. Все взвешено, размерено, разложено по клеточкам, схоластически выглажено. Фома Аквинский одобрил бы построение обеих вещей, хотя качал бы, вероятно, головой и дивился, зачем «Пир» написан не по-латыни.

Но стоит немного вчитаться в обе вещи, как сейчас же станет ясно, что у писавшего — душа не сухого схоластика, а живого человека, полного страсти и едва сдерживающего взрывы поэтического темперамента. Обе книги очень личные. Ум распоряжается в них далеко не исключительно. То и дело ему мешает — и помогает — чувство. Все положения очень категоричны. Никаких оговорок. Но категоричность какая-то беспокойная. Не то, что автор утверждает с недостаточной уверенностью. Формально он все продумал и все как будто в порядке. Ему не хватает бесстрастия. Как не хватало раньше. Как не будет хватать никогда. Он тащит с собою целый груз неизжитых горестей и недоиспытанных радостей. В нем клокочут тысячи обид. И хотя он знает, что не след в таких книгах давать волю накипевшим настроениям, он не всегда может выдержать: кольнет Альбоино делла Скала, похвалит за щедрость — за щедрость ему хочется хвалить чаще и больше — Галассо Монтефельтро, вдруг кинется очертя голову в полемику с поэтической школой фра Гвиттоне д'Ареццо и начнет превозносить друга, единственного живого соратника былых поэтических

турниров, Чино да Пистойа. Личные мотивы так и лезут наружу из-под схоластических стройных силлогизмов. В дантовой схоластике сколько угодно лирики.

В «Новой жизни» у поэта был критерий, который он формулировал словами: *chi guarda sottilmenie* Мерилом познавательной способности была тонкость. Таков был предмет: любовь к женщине, к женщине из плоти и крови, отнюдь не аллегорической. В «Пире» познавательные критерии иные: *chi bene considera* (кто рассуждает правильно), или *chi bene intendera* (кто правильно поймет). Особенной тонкости не требуется. Нужно понимать, довольно и одного ума. В «Пире» тоже ведь много о любви к «благородной даме». Но если кто не разберется по канцоне «Любовь, что у меня в уме ведет беседу», тому комментарий скажет, что эта дама — аллегорическая, что под ней нужно подразумевать философию. О живой женщине в «Пире» не говорится, а говорится — в принципе — о вещах отвлеченных. Поэтому и выдвигаются иные познавательные критерии: рассуждение и понимание.

А читателю приходится мобилизовать то и дело те самые критерии, которые призывались во времена «Новой жизни». Потому что в «Пире» и в «Языке» очень много лирики. И не просто лирики. И не просто того очень личного отношения к отвлеченным вопросам, которое делает их такими интересными. Лирика в этих вещах зыбкая, а личное отношение двойится. Ибо Данте хочет последовательно говорить одно, а говорит то, что хочет, не очень последовательно и постоянно дает проскользнуть такому, чего говорить вовсе не хочет.

В «Комедии» это двоение будет еще ярче.

Пока поэт скитался по замкам и княжеским дворам, его родной город, к которому взор его был непрестанно прикован, переживал один за другим этапы своей истории.

Бонифаций, пока был жив, помогал Флоренции справляться с эмигрантами и их союзниками. Но и после его смерти, когда его преемник Бенедикт XI стал явно благоволить к «белым» и даже их поддерживать, гвельфская Лига неизменно оказывалась сильнее врагов. Борьба подняла значение дворянской группы, на которую ложилась главная тяжесть походов, и вожди ее требовали взамен ратных услуг политических уступок, т. е. большей доли во власти и смягчения железных параграфов

«Установлений». Но пополаны и их руководство, богатая буржуазия со Спины во главе, отнюдь не склонны были делиться с дворянами выгодами нового положения. Дворяне роптали, но так как очень скоро воевать сделалось не с кем, то на ропот их обращали мало внимания.

Наметилось постепенно сначала охлаждение между двумя группами «черных», потом все более открытый разрыв. И снова выдвинулся на первое место в дворянской партии мастер политической интриги и кровавых выступлений Корсо Донати.

Ему было уже за пятьдесят, и злая подагра изнурила могучее когда-то тело. Энергии и темперамента было еще много, а сил хватало не всегда. Тягаться с настоящими вождями «черных», богатыми пополанами, Джери Спины и его друзьями, ему было трудно. Никто не подходил лучше, чем Корсо, для той роли, которую он сыграл в конце 1301 года, когда захватил врасплох «белых». Никто не был так нужен, как он, в войне с эмигрантами. Но когда со взятием Пистойи война кончилась, а Корсо стал более высокомерен и более властен, чем когда-нибудь, он сделался неудобен. Его не пускали ни на один влиятельный пост. Джери Спины боялся его дикого нрава и осторожно отколол от него его прежних друзей, богатых купцов, самых влиятельных политиков в городе: Россо делла Тоза, Паццино деи Пацци и Берто Брунеллески.

Паццино было предоставлено руководить интригой. Джери, как всегда, не хотел фигурировать на передовых постах, когда дело касалось серьезной борьбы. С недавних пор он стал осторожнее. Бенедикт XI лишил его положения папского банкира, которое было передано одному из Черки и, хотя понтифакт Бенедикта продолжался недолго, но вернуть свое положение Джери не удалось. И потери при разгроме Ананьи давали о себе знать. Рисковать при таких условиях не приходилось. Джери поэтому охотно пускал вперед друзей. Паццино, недавно приставший к пополанам дворянин, один из самых богатых, не уклонился.

Первым актом, открывшим военные действия против Корсо, было заключение его в долговую тюрьму за неуплаченный старый долг Паццино. Корсо пробыл в ней недолго и понял, что миром у пополанов он ничего не добьется. И решил действовать силою. Ему нетрудно было привлечь на свою сторону дворян — аргументов, им понятных, у него было сколько угодно. Они все чувствовали себя обделенными: честно сражались за Флоренцию, проливали кровь, а проклятые «Установления» продолжают давить их всякий раз, когда они требуют чего-то серьезного. При таком их настроении агитация Корсо шла очень успешно. Дино Компаньи резюмирует его речи таким образом: «Они захватили себе всю власть, а мы,

дворяне, люди силы, живем здесь, как чужие. У них латники, которые их сопровождают, на их стороне дутые пополаны. Они пускают в дележку между собою казну, которая должна была бы принадлежать нам, как высшему сословию». И не только дворяне, но и кое-кто из пополанов были привлечены им на свою сторону: Бордони, Медичи. Все было налажено. Властный и импульсивный, но далеко не очень умный, Корсо решил, что час его настал, что он может стать синьором-тираном Флоренции. Его окрылял недавний, третий его брак с дочерью Угуччоне делла Фаджола, гибеллинского вождя, хозяйничавшего в то время в Ареццо в качестве подеста.

Он стал готовиться к решительному выступлению, снесся с друзьями вне Флоренции, уговорился с тестем, что тот пришлет ему подмогу, мобилизовал своих в городе. И — час его действительно настал, но по-другому, чем он думал. Враги были настороже, предупредили Синьорию. Та подняла пополанов. Дома-крепости Донати были окружены. Корсо защищался. Бордони со своими, верные уговору, подоспели к нему на помощь. Но Угуччоне, узнав, что заговор открыт, повернул, не дойдя до города. И Медичи, уже тогда осторожные, не двинулись.

Начался бой. Джери Спины с братом и родней, Паццино деи Пацци, Россо дела Тоза, все Фрескобальди, все Барди, все Росси, кто конный, кто пеший бились с людьми Корсо. Каталонские всадники, бывшие на службе у города, окружили дома. Один из Бордони пал в бою. Корсо понял, что он будет взят, и решил бежать. Терзаемый болью, он едва мог сесть на коня и бросился вон из города. Но каталонцы догнали его и по приказанию Паццино и Россо закололи своими пиками. Конь долго влачил по земле его тело. Монахи ближайшего монастыря подобрали его и похоронили у себя. Это было в октябре 1308 года. Данте в «Чистилище» (XXIV) заставляет пророчествовать об этом брата Корсо, товарища своих бурных лет, Форезе Донати:

...Кто больше всех жесток
И грешен был, того я вижу ныне
Привязанного к конскому хвосту.
Влекомого к безжалостной долине,
Казнящей грех. И бега быстроту
Все ускоряет конь его, покуда
Из грешника костей не станет груды.

Ч.

Корсо поплатился за то, что вздумал стать господином того, в чьих руках был орудием. Джери Спини в союзе с другими пополанскими вождями направлял действия синьории против Корсо, а после его гибели и разгрома его родни продолжал фактически править Флоренцией.

Хозяевам города очень скоро пришлось считаться с опасностью, гораздо более серьезной, чем покушение Корсо, опиравшегося на союз с Угуччоне.

Императорский орел уже вновь расправлял крылья, чтобы налететь на Италию. Никому его появление не судило такой беды, как Флоренции.

И, вероятно, никто не был способен почувствовать от этой перспективы такой радости, как Данте.

Глава V

Герольд интервенции

1

1 мая 1308 года был убит своим племянником Альбрехт Габсбургский, и императорская корона стала вакантна. Пришли в волнение все германские князья. Кто займет место Габсбурга? Курфюрсты, которым предстояло выбрать нового германского короля, стали предметами заискивания, льстивых обхаживаний, щедрых обещаний, богатых подношений. Особенно старался один государь, не германский, а французский. Филипп IV Красивый, гордый недавней победой над таким противником, как Бонифаций, решил посадить на немецкий престол, а потом добыть императорскую корону своему брату Карлу Валуа, который был Иудею Фландрии и палачом Флоренции, авантюристу без совести и без способностей. Если бы план осуществился, никто в Европе не был бы в состоянии противиться воле французского короля.

Это очень хорошо понял папа Климент V, которого и без того давило могущество Филиппа. Он имел пребывание в Пуатье, на французской королевской земле, под неустанным наблюдением и вынужден был исполнять все приказания короля, как будто он был его домашним капелланом. Он уже успел одобрить конфискацию капиталов монашеского рыцарского ордена тамплиеров и благословить короля на посмертный процесс против Бонифация. Это была последняя уступка, которую Филиппу удалось вытянуть из Климента. Папа решил, что с него хватит, и перенес свою резиденцию из Пуатье в Авиньон, на землю, принадлежавшую графам Анжу и Прованса, которые одновременно были королями Неаполя.

Выступить открыто против кандидатуры на германскую корону Карла Валуа Климент не решился, но под рукою он делал все, чтобы ей помешать. Поэтому он был несказанно обрадован, когда один из семи курфюрстов, архиепископ Балдуин Трирский выдвинул кандидатуру своего родного брата, графа Генриха Люксембургского. Климент, все под таким же секретом, стал агитировать за нее, и 25 ноября 1308 года на сейме во Франкфурте Генрих Люксембургский был избран. 6 января 1309 года в

Аахене он возложил на себя корону и сделался немецким королем под именем Генриха VII. Это была «первая» корона. Чтобы стать императором Священной римской империи ему нужно было еще быть сначала увенчанным в Милане железной короной лангобардских королей, что возводило ее в сан короля Италии, а потом в Риме императорской короной. В последнее время не все немецкие короли умели добиться этого. Генрих объявил, что он во что бы то ни стало желает быть увенчанным императорской короной, что он пойдет для этого в Рим и в Италию, умиротворит страну, исполняя исконную миссию римских императоров, и подчинит ее имперской организации.

В Италии поднялось великое волнение. С тех пор как в 1250 году умер Фридрих II Гогенштауфен, ни один из его преемников, ни один из немецких королей не удостоился венчания в Риме, и для итальянцев последним императором продолжал оставаться Фридрих II. Когда немецкие короли сидели у себя дома за Альпами и не утруждали себя приходом в Италию, итальянцы чувствовали себя спокойно. Гвельфы и гибеллины неторопливо и без большого пролития крови продолжали воевать, поглощенные местными интересами. Гибеллины мало надеялись на фактическую поддержку из-за Альп, гвельфы мало ее боялись. И вдруг весть о том, что Генрих VII твердо решил «спуститься» в Италию, короноваться в Риме (это было еще с полбеды) и — что было опаснее всего — умиротворить страну!

За последнее время «миротворцы» пользовались очень плохой репутацией в Италии. Одна Флоренция попробовала их трижды, а каждый следующий был хуже предыдущего. Кардинал Латино Фанджипани был самым безобидным. Единственно, что можно было поставить ему в вину, это то, что он не сумел убедить гвельфов, хозяев Флоренции, амнистировать всех гибеллинов. Второй «миротворец» кардинал Маттео Акваспарта mutilated город, сколько мог, интригуя в интересах дворянской партии. Под конец, едва избежав вполне заслуженной им стрелы из арбалета, благочестиво отлучил всю головку города и смиренно уехал, изрыгая проклятья. Самым бедственным «миротворцем» был, как мы знаем, Карл Валуа. Мир, который он принес во Флоренцию, принял сначала образ Корсо Донати, т. е. кровавого погрома, а потом Канте деи Габриелли, т. е. белого террора. Был еще четвертый миротворец при папе Бенедикте XI: кардинал Никколо из Прато. Но он не сумел одолеть противодействия «черных»; мир с «белыми» не вызывался еще никакими серьезными мотивами и не сулил хозяевам Флоренции ничего хорошего. А так как папа Бенедикт не имел никаких специальных видов на Флоренцию, то особенно дурными последствиями для города миссия его кардинала не

сопровождалась. Теперь новый миротворец шел из Германии во главе целой армии и вооруженной к тому же всем багажом имперских притязаний. На что будет похожа его миссия: на миссию Карла Валуа или на миссию кардинала Прато?

А в заявлениях Генриха был еще один мотив, который заставлял насторожиться самые могущественные интересы в Италии: намерение включить ее — для умиротворения — в систему имперских учреждений.

Что бы ни происходило в Италии после 1250 года, — она существовала совершенно свободно. Попытки Карла I Анжуйского прочно подчинить своему влиянию Тоскану, кончилась очень скоро. И Тоскана, и Романья, и Ломбардия разбитые на множество городов-государств, управлялись, как им хотелось. Теперь собирались подчинить их какому-то не ими выработанному порядку. Как они могли на это согласиться? А кроме городов-государств в Италии было, — и в этом заключалась самая большая опасность для Генриха, — Неаполитанское королевство, трон которого с мая 1309 года занимал не совсем законно сын Карла II, Роберт Анжуйский, человек очень даровитый и настойчивый, хотя и не обладавший особенно блестящими талантами. Меценат и сам ученый богослов, очень ценивший к тому же классиков, оратор, очень любивший говорить проповеди в церквах, — он в то же время был чрезвычайно ловкий и изворотливый политик, борьба с которым для благородного и простодушного Генриха была очень нелегка. Именно Роберт, глава итальянских гвельфов, должен был организовать сопротивление Италии немецкому королю.

Положение Италии было очень запутанное. Папа Климент V, занявший престол св. Петра после кратковременного понтификата Бенедикта XI 5 июня 1305 года, был гасконец, епископ Бордо, верный подданный Филиппа Красивого. Он очень скоро перебрался в Пуатье и лишь опасения окончательно потерять независимость заставили его, как мы знаем, избрать своей постоянной резиденцией Авиньон. В Италии он оставил своим легатом кардинала Наполеоне Орсини. И сам папа, и его легат поддерживали «белых», как и Бенедикт XI, и кардинал Орсини очень энергично и очень безуспешно пробовал снова мирить их с «черными». С анжуйцами в Неаполе Климент естественно находился в самых лучших отношениях. Но отсутствие папы создавало всюду в Италии ощущение чего-то ненормального, и когда весть о решении Генриха VII пришла туда, то перспектива появления императора в отсутствии папы стала всем казаться очень тревожной. Летописцы вносили в свои хроники записи о знаменьях небесных, предвещавших приход императора. Джованни Виллани сообщает: «В сказанном 1309 году, 10 мая, ночью, в пору первого

сна появилось в воздухе огромное пламя, величиною с большую галерею. Оно двигалось с севера на юг с невероятным светом, так что было видимо почти во всей Италии и вызывало великое удивление». И не одно удивление: ибо возвещало приход Генриха.

Оживились только гибеллины: в Ломбардии, в Тоскане, всюду. Для них поход Генриха в Италию должен был представляться концом бедствий и началом избавления. Они могли надеяться отомстить врагам и прожить остаток жизни в покое. Поэтому когда Генрих летом 1309 года приехал в Шпейер, куда он созвал своих баронов, чтобы получить от них санкцию задуманного им похода, этот город очень быстро сделался итальянским Кобленцом. Туда наехало огромное множество гибеллинов и «белых», которые, чтобы ускорить экспедицию, наперерыв предлагали императору деньги и военную помощь. Но Генрих хотел действовать наверняка. Ему важно было заручиться, во-первых, благословением папы, а потом если не поддержкой, то по крайней мере нейтралитетом Филиппа Красивого. Того и другого ему удалось добиться путем переговоров. Теперь он не боялся ничего и, торжественно объявив о своем решении, начал деятельно готовиться к походу.

10 мая 1310 года Генрих разослал письма итальянским коммунам, в том числе и Флоренции, чтобы возвестить о походе, потребовать присяги в верности и присылки послов в Лозанну, откуда он думал двинуться в поход летом следующего года. А во Флоренцию кроме того пришли послы, которые, повторив изложенное в письме, потребовали пропуска через город императора с его войском, когда он прибудет, и немедленного прекращения войны с гибеллинским Ареццо. Официальный ответ был дан уклончивый, а Берто Брунеллески, разгорячившись и забыв дипломатические тонкости, коротко отрезал: «Флорентинцы еще ни перед кем рогов не опускали». Послы, не добившись ничего, отправились в Ареццо, который был окружен флорентинцами, и потребовали пропуска в город. Отказать им в этом было нельзя, и нельзя было штурмовать крепость, где находились послы императора. Осада вскоре была снята. Это было в июле 1310 года. В октябре Генрих вступил на итальянскую землю.

Его появлению предшествовала папская энциклика, разосланная повсюду, но имевшая в виду прежде всего Италию: большинство епископов и городов итальянских получили папскую грамоту со специальными посланными. Она была помечена 1 сентября. Уверенный, что король не нарушит своего слова и не будет покушаться на церковные владения, Климент горячо, в выражениях почти восторженных, призывал итальянцев, отбросив взаимную вражду и ненависть, оказать королю почетный прием,

ибо он идет, чтобы положить конец усобицам в Ломбардии и Тоскане, несет мир всей стране и отнюдь не будет принимать сторону одной какой-либо партии против другой.

Значительная часть итальянской интеллигенции встретила Генриха горячими и искренними приветствиями. Это были те ее представители, которые либо пользовались гостеприимством гибеллинских дворов, как Альбертино Муссато в Падуе, один из первых гуманистов итальянских, Феррето деи Феррети в Виченце, философ, либо надеялись с помощью короля вернуться на родину, как Чино да Пистойя.

Среди приветствовавших самым страстным был Данте Алигиери.

2

Если Данте вообще был в Париже, то он выехал оттуда в Италию по всей вероятности вскоре после того, как во Францию дошла весть о Шпейерском сейме и о решениях, там принятых, т. е. примерно осенью 1309 года. В июле 1310 года он был в Романье, в Форли, откуда отправил письмо Кан Гранде делла Скала в Верону и рассказал о приеме послов Генриха во Флоренции. В это время он уже всей душой был с королем и всю страсть, на какую был способен, отдал предмету нового увлечения.

До этого момента мироощущение Данте слагалось под влиянием тех потрясений, которые он последовательно испытал в жизни: любви к Беатриче, заставившей его впервые проанализировать свои чувства; философских занятий, открывших ему источник чистейшей и возвышеннейшей радости в науке; изгнания, которое дало его духу высшее, трагическое очищение, очищение муками и горем, тот катарсис, после которого наступает умиротворенность и просветление. Но человек все-таки не был еще сформирован до конца. Чего-то не хватало. Чего-то большего.

Во Флоренции Данте был поэт и рядовой политик, очень любивший свою родину и готовый защищать ее свободу от всяких враждебных посягательств, хотя бы они исходили от главы христианского мира. В изгнании он стал поэтом философских глубин и гражданином Италии, у которого сознание двоилось между старыми воспоминаниями и новыми интересами, между неистребимыми впечатлениями богатого и культурного буржуазного центра и трудными усилиями приспособиться к жизни при дворах новых государей. Флоренция была тесна для его духа. Простор вне флорентинского существования — еще теснее. Его сознанию нужна была широта других горизонтов — мировых. Только в ней его гений мог по-

настоящему расправить свои крылья. Поход Генриха и все сложные перипетии итальянской Голгофы императора со цветением надежд и их крушением, с осаннами и изменами, с фимиамами и отравками — дал ему то, чего ему не хватало. Без похода Генриха VII была бы невозможна «Комедия».

Данте был вовлечен в круговорот переплетающихся и сталкивающихся интересов империи и Италии, гвельфизма и гибеллинизма, Флоренции и эмигрантов, Тосканы и короля, буржуазии и феодального мира, интересов, которые поочередно то выплывали на поверхность, то погружались в невидимые глубины, но ощущались чуткими людьми все время. И он, чуткий из чутких, переживал со всей страстью каждый момент трагической эпопеи императора, — и накапливал материал для «Комедии», запечатлевая в себе социальные и классовые сдвиги своего времени. Первым его откликом на события, связанные с экспедицией Генриха, было латинское письмо, озаглавленное: «Всем вместе и каждому отдельно: королям Италии, сеньорам благостного города, герцогам, маркизам, графам, а также народам, скромный (*humilis*) итальянец, Данте Алигиери, изгнанник безвинный, молит о мире». Начинается письмо трубным звуком:

«Вот наконец настала пора желанная, несущая нам знаки утешения и мира. Ибо сияет новый день, показывая зарю, которая пронизывает мрак долгого бедствия. И уже восточные усиливаются ветерки, багрянцем блестит небо на краю горизонта и радостной ясностью подкрепляет предвидения народов. Скоро, скоро сподобимся долгожданной радости и мы, так долго блуждавшие в пустыне. Ибо взойдет мирное солнце, и справедливость, поникшая, как цветок гелиотропа, лишенный солнечного света, оживет, как он, при первых лучах дня... Радуйся ныне, Италия, возбуждавшая до сих пор сострадания даже у сарацин. Скоро ты будешь предметом зависти целого мира, ибо жених твой, радость века и слава твоего народа, милосерднейший Генрих, божественный и августейший кесарь, спешит к бракосочетанию с тобою. Осуши, прекраснейшая, слезы. Укрой следы печали. Ибо близок тот, кто освободит тебя из темницы злодеев...»

Дальше идут увещевания товарищам по страданиям и мукам — простить врагам и не жаждать мести, а итальянцам воспользоваться той свободой, которую несет им король, но не требовать чрезмерного, ибо все, что есть на земле, идет от бога, а император — его представитель.

Письмо написано, по всем данным, вскоре после того, как сделалось известным послание Климента, на которое Данте прямо ссылается в конце, т. е. в сентябре или в начале октября 1310 года, до появления Генриха в

Италии.

30 октября Генрих был уже в Турине. Гибеллинским баронам, которые приходили к нему предлагать свою помощь, он говорил то же, что Климент говорил от его имени в энциклике: что он не хочет знать никаких партий, а пришел в Италию, чтобы помочь всем. И в подтверждение своих слов во всех городах, через которые лежал его путь, водворял на родину изгнанников, гвельфов и гибеллинов, безразлично. В Асти он остановился на продолжительный срок, с 10 ноября до 12 декабря. Здесь около него образовался пышный двор, куда стекались послы итальянских князей и многочисленные представители знати, буржуазии и интеллигенции. Прислали послов оба Скалиджери, Альбоино и Кан Гранде, предлагая ему устроить резиденцию у себя в Вероне под надежной защитой ее стен. Пришло пышное посольство из Пизы с богатыми дарами. Явились многие из членов семьи Уберти и другие тосканские нобили, явился флорентийский изгнанник Пальмьери Альтовити, осужденный в одном приговоре с Данте. Не только гибеллины встречали благосклонный прием, но и гвельфы. И казалось, что слово Генриха, что он пришел не для того, чтобы дать перевес одной партии над другой, а чтобы сделать добро всем, — не было пустым звуком. Ведь когда Генрих приближался к Милану (23 декабря), имея в своей свите вождя миланских гибеллинов Маттео Висконти и его приверженцев, которые были изгнаны из города после ожесточенной борьбы с Гвидотто делла Торре, сам Гвидотто выехал встречать императора без эскорта и без оружия. Всем это показалось таким же чудом, как и то, что вслед за этим Генрих со свитой и с войском перешел Тичино, не воспользовавшись лодками: около ста лет могучий ломбардский поток не высыхал так сильно. Восторженные поклонники кричали о повторении чуда с переходом евреев через Красное море.

Встречавших становилось все больше и больше, по мере того как Генрих двигался вперед по итальянской земле. В Милане их сделалось особенно много. Ломбардцы и тосканцы появлялись большими группами. Возможно, что именно в Милане представился Генриху и Данте. Как автор нашумевшего послания к итальянскому народу, он удостоился, несомненно, очень милостивого приема. Несколько позднее в письме к королю поэт вспоминал: «Я, который пишу об этом как для себя, так и для других, узрел тебя, каким подобает быть императорскому величеству, добродетельнейшим и слышал тебя милосерднейшим, и руки мои коснулись твоих ног и губы мои к ним приложились».

Но появлялись уже мало-помалу признаки, что король в силу обстоятельств не сможет долго блюсти свое обещание не оказывать

предпочтения одной какой-либо партии. Всем становилось ясно, что король ласковее глядит на гибеллинов и на «белых», чем на гвельфов, внимательнее их слушает и лучше слышит. Гибеллины, которые гораздо раньше попали к его двору, смотрели на гвельфов, приходивших приветствовать короля, исподлобья, насупив брови и метая из-под них яростные взгляды. Конечно, они шипели, как могли и как могли восстанавливали Генриха против своих врагов. Дино Компаньи повествует: «Гвельфы перестали ходить к нему, а гибеллины часто его навещали, потому что нуждались в нем больше. Им казалось, что в награду за жертвы, принесенные ими для империи, они заслуживают лучшего места». Обстоятельства вскоре внесли во все большую ясность.

В день крещения, 6 января 1311 года Генрих короновался в церкви Сант Амброджо, главном храме миланском, железною короною лангобардских королей. Торжество было пышное. Присутствовали послы от огромного большинства итальянских городов. Блистали отсутствием только Флоренция и дружественные ей тосканские коммуны. Это было завершением идиллии. А вскоре началась драма.

11 февраля 1311 года в Милане вспыхнуло восстание против чужеземцев. Гвидотто делла Торре, глава гвельфов, подстрекаемый не то Маттео Висконти, который хотел заработать на его простодушии, не то флорентинцами, вместе с сыновьями пытался поднять народ на немцев. Немецкие, бургундские и фламандские рыцари Генриха очень быстро подавили вспышку, учинивши по такому счастливому случаю основательный погром. Торриани бежали, а Маттео после отъезда короля сделался синьором города, ставшего отныне в руках его и его преемников оплотом ломбардского гибеллинизма. Это было первое последствие миланской вспышки. Второе заключалось в том, что миротворческий ореол Генриха сильно потускнел. Поджоги, разрушения, убийства и грабежи, совершенные его воинством в день 11 февраля, отозвались тревожным эхом во всей стране. Гвельфы, которые и без того относились с недоверием к его миролюбию, сделались еще сдержаннее и флорентинцы еще более энергично начали готовиться к тому, чтобы дать ему отпор, если он пожелает повторить прошлогодние требования. Они возобновили союз с Болоньей, вновь скрепили договоры с членами гвельфской Лиги, послали послов к папе, чтобы прояснить ему сознание так, как это было им выгодно. Наоборот, гибеллины и «белые» были очень смущены происшествиями 11 февраля: им было ясно, что приукрасить поведение королевских банд, которые грабили правого и виноватого, едва ли удастся. Миланский погром разрушал легенду о миротворческой миссии короля. А

если у кого и оставались еще сомнения, то ближайшие события рассеяли их окончательно.

Возвращение изгнанников, которое по приказу Генриха проводилось всюду, нигде не проходило гладко. Люди вступали в родные города, обозленные долголетними испытаниями, нуждою, унижениями. Они находили свои дома разрушенными, земли в чужих руках, и жажда мести виновникам всего пережитого загоралась с тем большею силою, что они видели их тут же, в довольстве и почете. Друзья и сторонники имелись у всех. Они собирались вокруг вернувшихся изгнанников, мечи вылетали из ножен сами собою, начинались стычки, которые то тут, то там превращались — в действительности или в изображении противников в восстания против короля. Так было в Лоди, в Кремоне, в Брешии. Верона этого избежала, потому что Альбоино и Кан Гранде просто не пустили в город своих изгнанников. И король не дерзнул настаивать: слишком сильным были Скалиджери. За то против маленьких он — на свое несчастье — решил быть беспощадным.

Мягче всего обошелся он с Лоди, где была лишь незначительная вспышка. Кремона и соседняя маленькая Крема действовали сообща. В Кремоне находился бежавший из Милана Гвидотто делла Торре, а капитано там был Раньери Буондельмонте, флорентийский гвельф. Флорентинцы, как могли, разжигали огонь, обещая помощь. Они предвидели необходимость защищаться самим и проявляли необычайную энергию: срочно заканчивали постройку третьей стены, рыли кругом города. Их послы были всюду: в Авиньоне, где они жаловались папе, что королевские войска совершают насилия на церковной территории, и пытались оторвать Климента от союза с королем; в Риме, где всячески старались привлечь на свою сторону легата; в Неаполе, где охаживали Роберта. И теперь они уже не скрывали своих действий. О них знали все.

Ими было вызвано второе письмо Данте, относящееся к экспедиции Генриха VII.

«Данте Алигиери, флорентинец, безвинный изгнанник, преступнейшим флорентинцам внутри города...» — так начинается послание, которое посвящено доказательству прав Генриха поступать так, как он поступает, и наполнено проклятиями и угрозами по адресу флорентинцев, решившихся вступить в борьбу с императором.

«Милосердному провидению царя небесного, который, увековечивая своей благостью вышние дела, не покидает взором и низменные, земные, было угодно, чтобы обстоятельства человеческие находились в управлении священной империи римской, дабы под столь светлой властью род человеческий обрел мир и всюду, как того требует природа, установилась гражданственность» (civiliter degeretur).

Следовательно, императорская власть установлена богом и ей нужно подчиняться. А так как Италия этого не желает, то, пока император находится вдалеке, она стала жертвою раздоров и бедствий. И флорентинцы грешат против бога, не желая признавать власть императора.

«Вы, осмеливающиеся преступать божеские и человеческие законы, вы, возбуждаемые ненасытной жадностью, готовые на всякое преступление. Неужели вы не знаете, безумцы, что публичные права кончаются только с окончанием времени и что срок их действия не истекает никогда? И почему стремитесь вы, отвергнув благочестивую империю, создать новое царство, как будто флорентийская гражданственность отлична от римской?» Далее поэт изображает в ярких красках те бедствия, которые постигнут Флоренцию от праведной мести императора, и восклицает: «О глупейшие из тосканцев, утратившие разум и от природы и от порочной жизни!.. Неужели вы не видите, слепцы, куда заводит вас власть жадности, которая обольщает вас сладкими нашептываниями, возбуждает пустыми угрозами, сковывает узами греха, препятствует подчиниться священным законам?» В заключение поэт призывает своих сограждан покориться, пока не поздно, уповая на великодушные императора.

В конце письма стоит: «Писано 31 марта, на рубеже Тосканы, у истоков Арно, в первый год счастливейшего похода кесаря Генриха в Италию». Повидимому, поэт в этот момент пользовался гостеприимством одного из графов Гвиди, разумеется гибеллинской ветви, в Казентино. Генриху письмо его стало известно, когда он двинулся из Милана на Кремону.

Какое впечатление могло произвести это письмо? Прежде всего тон его совсем не похож на тон первого письма. Там было настроение примирительное, отбрасывалась самая мысль о мщении. Здесь звучат угрозы и очень серьезные. Лирический период интервенции кончился. Миланские репрессии показали ее лицо. Не миротворческая миссия, а вражеское нашествие, сопровождаемое всеми судорогами насилия, несущее кровавые расправы над мирными городами, которые поверят сладким словам о мире. И Данте становится герольдом новой фазы

экспедиции, защищает права короля, сандалии которого — к ним только что прикасались благоговейно его губы — увязали уже в крови миланских граждан, приглашает флорентинцев склонить выю перед насилием.

У него стройная аргументация, продуманная теория. Бог установил права императорской власти. И они вечны — срок их действия не истекает никогда. Давность на них не распространяется. Подчиняться им нужно всегда. Что бы ни решил император, слово его священо. Перед ним нужно склоняться.

Совершенно ясно, что принять такую теорию могли только те, кому она была выгодна. Остальные должны были биться до последней капли крови, чтобы не подпасть под ее действие. Тем более, что уже просачивались слухи о том, что скрывается под этими аргументами, в которых так красиво сочетались слова: империя и свобода.

Флоренция должна была вернуть империи 158 castella, т. е. населенных мест, имевших укрепления, и 60 сельских коммун, находившихся на ее территории, Лукка — 131 castella и 116 сельских коммун, Сиена — 94 castella и 4 сельских коммуны, а также город Гроссето, Вольтерра — 28 castella. Это означало ликвидацию значительной части территории каждого из этих государств и — что было особенно важно для шерстяной промышленности Флоренции и шелковой Лукки — закупорку торговых путей, соединявших Флоренцию и Лукку с Альпами, Венецией, морем и Римом, т. е. полное удушение, экономическое и политическое. Подвести под это требование юридический фундамент ничего не стоило, ибо империя всегда рассматривала всякое территориальное расширение итальянских коммун как незаконный захват ее владений. Как могли тосканские города согласиться на такую операцию, не исчерпав всех средств сопротивления? А они, богатые, полные сил, объединенные в лигу, имея союзником Роберта Анжуйского и следовательно покровителем французского короля, могли сопротивляться очень серьезно. Во всяком случае, чтобы вынудить их на такую капитуляцию, нужно было сначала разгромить их военную силу. Генрих должен был скоро убедиться, что это не так просто.

Понятно, какой отклик могло вызвать послание Данте, бросившее вызов Флоренции и покушавшееся на все, что составляло самый нерв ее существования. Это мог быть только взрыв возмущения, и мы увидим, чем ответила Флоренция на этот шаг своего поэта. Но и у гибеллинов письмо Данте, вероятно, не имело особенно большого успеха. Дело Генриха и без него очень хорошо было обставлено со стороны теоретических аргументов, поддерживающих его права. У него в канцелярии корпело над

пергаменами немалое количество легистов, только и занимавшихся формулировкой этих аргументов. Гибеллины, такие, как Кан Гранде, которые знали, что им скоро придется обнажить меч, находили, что королю не мешало бы запастись еще людьми и вооружением, потому что чем больше военная сила, тем, меньше нужно канцелярий и аргументов.

Что же побудило Данте выступить так неудачно? Страсть. Поэт ничего не умел делать спокойно. Тому, за что он дрался, делу, в правоте которого он был убежден, он всегда отдавался со страстью. С тех пор как он узнал о том, что король Генрих готовится к походу в Италию, для него потеряло интерес все остальное. Брошены были философские занятия, остался незаконченным «Пир», не был дописан трактат «О языке», не складывались больше канцоны и лишь изредка отправлялся к друзьям один — другой сонет, в котором поэт делился с ними думами и переживаниями. Он весь целиком был в лагере короля, поклонялся ему, как божеству, не видел его недостатков как человека, его неспособности как государя, наделял его такими качествами, какими тот никогда не обладал, окружал ореолом, какого король не заслуживал. И перестроил все свое политическое мироощущение.

Он уже не был «сам себе партией». Он был идеолог гибеллинизма. Поход Генриха был тем фактом, который довершил его обращение. Пребывание при гибеллинских дворах положило ему начало, но чтобы сделать его человеком, способным написать политические письма этого периода, которые в сущности были выступлениями партийного публициста, и пропеть потом осанну гибеллинизму в VI песне «Чистилища», — нужно было событие широкого охвата, которое было в силах перебудоражить все его нутро.

Психологическим толчком служило, конечно, его одиночество, его полная беспомощность, тоска по «щедрости», проистекавшая от невозможности рассчитывать на сколько-нибудь прочное положение, и сознание, что в богатые гвельфские города пути ему заказаны. Приют при дворах почему-то никогда не бывал продолжителен. Чем это объяснялось, мы не знаем, но это было так. «Щедрость» тоже не изливалась широким потоком: совсем наоборот, она процеживалась скупыми каплями. Экспедиция Генриха VII обещала положить конец этому полунищему существованию, вернуть ему родину, семью, родных, дом, кусок хлеба. Экспедиция Генриха VII обещала дать ему положение, достойное его гения, сделать его из бродяги тем, чем он давно был в своем гордом сознании: лучшим пером на службе у самого правого и самого большого дела, какое только существовало на свете. Разве мало было всего этого, чтобы

переплавить его внутренне?

На его горе, дело, которое он взялся защищать, было и не самое большое, и не самое правое.

12 апреля 1311 года Генрих осадил Кремону, а четыре дня спустя Данте написал еще одно послание, адресованное на этот раз лично королю. Оно помечено тем же местом, что и письмо к флорентинцам: Тоскана, близ истоков Арно. Но в нем есть одна особенность, которой в предыдущих посланиях не было. Обращение формулировано так: «священнейшему триумфатору и единственному государю, господину Генриху, волею провидения римскому королю, вечно августейшему, — преданные ему Данте Алигиери, флорентинец, безвинный изгнанник, и все тосканцы, жаждущие мира, — лобзают ноги». До сих пор Данте писал от своего имени. Теперь пишет он от «всех тосканцев». Это значит, повидимому, что где-то в Казентино, в Порчано у графов Гвиди или в другом месте состоялось собрание или совещание бело-гибеллинских изгнанников из Флоренции и других городов, входящих в Тосканскую лигу, и Данте уже снова стал чем-то вроде признанного публициста группы. Какие в этой группе были люди, мы не знаем. Вероятно, не очень крупные, потому что более выдающиеся представители гибеллинов и «белых» находились в ставке короля. Но какая-то группа во всяком случае была, и свои требования она формулировала с полной ясностью.

Залог успеха для Генриха был в быстроте. Если он сумеет в короткий срок смирить Флоренцию и Тосканскую лигу, его дело будет в основном сделано. Роберт, оставшись один, не решится выступить открыто против короля, которого поддерживает папа. Но если поход его затянется, все может пойти прахом. Пока Флоренция не покорена, она будет непрерывно финансировать всех противников короля и работать при всех европейских дворах, чтобы парализовать его усилия. А поход Генриха стал приобретать такой характер, что о быстроте говорить не приходилось. Он явно задерживался в Ломбардии, потому что количество городов, взбунтовавшихся против него, становилось там все больше.

Письмо Данте именно против этого предостерегало короля. После торжественного, верноподданнически затейливого вступления с цитатами из евангелия и классиков, оно переходило к существу дела. Король задерживается в Ломбардии и надеется уничтожить гидру, рубя одну за

другой ее головы. Из этого ничего не выйдет. Чтобы умертвить дерево, нужно не ветви ему обрубить, а корень. Чего добьется король, когда сломает шею Кремоне? За нею вслед нужно будет покорять Брешию, потом Павию, а за ними Верчелли и Бергамо. «Неужели не знаешь ты, превосходнейший из государей, и не видишь с высоты своего положения, где прячется лилица этого безобразия в безопасности от охотников? Ибо не в стремительном По и не в Тибре, тебе принадлежащем, утоляет свою жажду преступница, а отравляют ее уста воды Арно, и Флоренцией зовется, если ты еще не знаешь, эта злая язва. Вот змея, бросающаяся на материнскую грудь. Вот паршивая овца, которая своим соприкосновением заражает стадо своего господина». И дальше увещание: не медлить на севере, а идти на Флоренцию и сокрушить источник зла. Под конец тон становится апокалиптическим и все заключение так и пестрит библейскими именами. «Тогда наше наследие, лишение которого мы не устаем оплакивать, будет нам возвращено полностью. И подобно тому как сейчас мы, изгнанники в Вавилоне, воздыхаем, вспоминая святой Иерусалим, так тогда, ставши снова гражданами и дыша мирным воздухом, мы в радости будем вспоминать бедствия смутной поры».

Но не пришлось Данте вернуться на родину и там в счастье вспоминать о былом несчастье. Призрак возможной, но несбывшейся радости дал ему зато потом мотив для знаменитой терцины, в которой заключительный образ письма, перевернутый, получил обратное значение.

Нет более ужасного страданья,
Как вспоминать о светлых временах
В несчастьи...

Ч.

Эта казнь воспоминаниями должна была стать его постоянной мукой. До самой смерти. А в этот момент, весной 1311 года, счастье казалось так близко.

Генрих не внял голосу Данте и его друзей. Он уже стал терять спокойное самообладание и способность холодно и бесстрастно обдумывать свои действия. Кремона сдалась 20 апреля и жестокими репрессиями искупила свою вину. Покончив с казнями, изгнаниями и разрушениями, — лучшие здания и башни города были снесены по приказанию короля, — Генрих пошел на Брешию, осада которой началась

14 мая. Но там подготовились лучше. Флоренция успела снабдить город достаточным количеством денег, оружием и провиантом, и осада затянулась на четыре месяца слишком. Четыре летние месяца в сыром климате Ломбардии, в воздухе, полном испарений и зловония от гниющих трупов людей и животных, перед отлично укрепленным, отчаянно защищавшимся городом совершенно разрушили армию Генриха. От нее осталась четвертая часть. Остальные погибли от вражеского меча, от чумы, от дизентерии. Целые отряды немецких князей бежали от чумы на родину. Брат короля, молодой Вальрам, был убит: стрела из арбалета пробила ему грудь, когда он наводил на стены камнеметную мангану. Когда 18 сентября город сдался, никакие свирепства над гражданами, никакие разрушения не могли поправить положения. С тем войском, которое осталось у короля, нечего было и думать ни о покорении Флоренции, ни о походе в Рим для коронования. Генрих решил провести зиму в Генуе, чтобы дать отдых себе и людям и вновь собрать армию, достаточную для осуществления его целей. И пока он двигался на запад, в тылу у него один за другим города поднимали восстание. Кремонские и брешианские расправы сделали свое дело. «Миротворец» показал свои зубы, и теперь ему нужно было мечом открывать ворота почти каждого итальянского города. Флорентинские капиталы и флорентинские дипломаты работали не даром.

Флоренция в этом конфликте с империей вообще показала во всем блеске свое политическое искусство. Правда, ее задача облегчалась тем, что противник ей попался на этот раз очень слабый: не Бонифаций. Генрих был рыцарь, не политик. Он понятия не имел о том, что такое дипломатическая игра. И около него не было ни одного настоящего советника. Брат его, архиепископ Трирский Балдуин с большим удовольствием облачался в панцирь, чем в епископские ризы, и удары меча предпочитал сидению в Советах. А флорентинцы думали обо всем. Они предвидели, например, что рано или поздно Пиза выступит против них на стороне Генриха и заранее вели переговоры с королем Хаиме Арагонским о том, чтобы он напал в нужный момент на Сардинию, принадлежавшую Пизе, — остров давно составлял предмет арагонских вожделений, — и тем заставил ее разделить свои силы. Еще раньше, чем Генрих пошел на зимние квартиры в Геную, во Флоренции поняли, что нужно готовиться к борьбе на следующее лето и приняли меры. Они решили объявить амнистию изгнанникам: чтобы усилить свои силы и отколоть от Генриха часть его союзников. Это — так называемая реформа Бальдо д'Агульоне.

Мысль была простая и здоровая: гражданский мир перед лицом врага. Примирение враждовавших в городе общественных групп, но без

содействия «миротворцев». 27 августа, незадолго до капитуляции Брешии, постановление было проведено. Оно было встречено с большим сочувствием всеми пополанами. Поэт Джанни Альфани, когда-то один из представителей «сладостного нового стиля», выступал с речью, поддерживавшей закон. Другой поэт Гвидо Орланди, бывлой ярый противник *dolce stil nuovo*, работавший в эти годы как энергичнейший боец против Генриха, тоже сочувствовал «реформе». Размеры ее были очень широкие. Количество лиц, осужденных на изгнание, в последние годы сильно выросло: многие подверглись ему в связи с попыткой переворота, устроенной Корсо Донати в 1308 году, многие после убийства Бетто Брунеллески, совершенного родственниками Корсо совсем недавно, в марте 1311 года. Закон 27 августа разрешил их ряды: огромное количество изгнанников было возвращено.

Однако амнистия не коснулась целых категории. Прежде всего амнистированы были только гвельфы: гибеллины слишком открыто примкнули к королю. Но и из гвельфов не получили амнистию те, которые особенно скомпрометировали себя: 154 целых семьи и 68 отдельных лиц в городе, 38 семей и 137 отдельных лиц за городом, всего вместе с гибеллинами около 1 500 человек. Сыновья Данте были амнистированы, сам он — нет. Это было понятно. В 1302 году его изгнание было актом партийной мести, потому что его преступление — борьба против Бонифация — было гражданским подвигом. Теперь его троекратное публицистическое выступление, упоминание о визите к королю в одном из посланий, призыв его идти на Флоренцию, не задерживаясь в Ломбардии, указание на то, что Флоренция — главный его враг, — все это было самым настоящим политическим преступлением, изменою родине, и исключение из амнистии было поэтом вполне заслужено. Он должен был знать, на что он идет.

Но содеянное им было больше, чем преступление: оно было ошибкою. Данте в пылу страсти, подстрекаемый, как это ни звучит противоречиво, любовью к родному городу, изменял ему для дела реакционного, вредного не только с точки зрения интересов Флоренции, но и с точки зрения национальных интересов Италии. Ибо победа Генриха грозила не только оборвать блестящий рост флорентийской и вообще тосканской промышленности, но еще отбросить Италию на два века назад в ее политическом развитии. Победа Генриха была нужна только самым реакционным группам итальянского дворянства, заскорузлым феодалам, не только не включившимся в процесс буржуазного роста итальянских коммун, но резко им враждебных.

Данте проникся идеологией этих групп, потому что, только связав свою судьбу с делом Генриха, он мог достигнуть своей цели: вернуться во Флоренцию. Потому что его любовь к родине в этот момент была особенная. Это была не та здоровая любовь к родине, которая воодушевляла его на борьбу с Бонифацием. Теперь он любил не Флоренцию просто, как тогда, а любил себя во Флоренции.

А Флоренция не хотела такой любви и не понимала ее.

Зима в Генуе была тяжела для Генриха. Ломбардия горела в огне восстаний, и нельзя было думать идти осаждать один за другим города. Из Рима приходили слухи, что там неспокойно, что Орсини, местные бароны, решили противиться вступлению в город короля, а Роберт Неаполитанский послал туда свой гарнизон. Тоскана вооружалась все энергичнее. Папа обнаруживал какие-то непонятные колебания. Кроме всего этого Генриха постиг тяжелый удар: у него умерла жена, бывшая ему нежным другом и разделявшая с ним все труды во время осады Брешии.

Генрих однако не терял энергии. Он объявил Флоренцию под имперской опалой, собрал свою маленькую армию и в середине февраля 1312 года отплыл из Генуи в Пизу. Там, встреченный с величайшей торжественностью и пышностью, он провел больше двух месяцев. Туда стеклись к нему со всех сторон тосканские гибеллины и «белые», и среди тех, кто явился еще раз лицезреть его, был также Данте Алигиери. Это с несомненностью устанавливается из сличения указаний, содержащихся в двух различных вещах Петрарки. В конце апреля, получив поддержку от пизанцев деньгами и людьми, король двинулся на Рим. Но когда он подошел к нему, то оказалось, что вступить в него не так легко. Он не понимал, почему вопреки обещаниям папы неаполитанский гарнизон занимает Капитолий, а Орсини замок св. Ангела, главную римскую крепость. И не знал, что еще 28 марта Климент, находившийся в Вьенне, под угрозами троих сыновей Филиппа Красивого и его брата Карла Валуа, флорентийского «миротворца», выступавшего на сцену всякий раз, когда нужно было подбить кого-нибудь на предательство, круто изменил свою политику. Французы действовали, конечно, под давлением трусливых воплей Роберта Анжуйского: в опасности находилась «французская королевская кровь». А Климент, как оказалось, взял на себя больше, чем мог выполнить. В этот день Генрих был покинут им на произвол судьбы.

Готовый уже и подписанный приказ римским властям о допущении в город Генриха, о сдаче ему Капитолия и об удалении неаполитанского отряда, послан не был. Немцы вынуждены были прокладывать себе путь оружием. Все время, пока они находились в «вечном городе», им пришлось защищаться против Орсини, неаполитанцев и флорентийского отряда, пришедшего к ним на помощь. Прорваться в Ватикан, чтобы быть коронованным в соборе св. Петра, Генриху так и не удалось. Лишь 29 июня кардинал Никколо из Прато возложил на него императорскую корону в церкви Сан Джованни в Латеране. Не разрешить коронавания папа, очевидно, уже не мог.

Поворот Климента Данте заклеил потом в «Комедии» стихом полным презрения к папе:

Пока высокого гасконец не обманет Генриха.

Но этот «обман» тяжело лег на судьбу императора. Как только стало известно новое отношение к нему папы, его покинули не только многие прелаты, находившиеся при нем, но и часть баронов, главным образом немецких, которым надоел поход, не приносящий ни славы, ни добычи, и обильный такими невероятными трудностями. Армия императора растаяла настолько, что становилось опасно оставаться в Риме, да и не имело цели. Поэтому Генрих решил дать своим второй раздых в здоровом воздухе Тиволи и 20 июля покинул Рим.

Здесь его настиг уже прямой удар из Авиньона. Климент прислал к нему послов с письмом, в котором императору предписывалось: не вторгаться в неаполитанскую территорию и заключить перемирие с Робертом, покинуть церковные владения, не вступать на них без папского разрешения, не нападать на неаполитанские войска, находившиеся в Риме, освободить пленных. Император был совершенно потрясен. Измена папы делала его положение в Италии очень опасным. В сущности, восстанавливалась полностью та конъюнктура, которая погубила наследников Фридриха II Гогенштауфена. Но Генрих не испугался. Он приказал ответить папе, что он не подданный его и приказаний от него принимать не обязан, что папа не имеет права предписывать ему перемирие с бунтующим вассалом, запрещать пребывание в столице империи и вообще вмешиваться в мирские дела. Но император понимал, что дальнейшая борьба за Италию будет еще труднее. Кан Гранде упорно боролся с восставшими ломбардскими городами, новый союзник — король

Сицилии Фридрих Арагонский — должен был отвлекать неаполитанские силы. Генрих решил идти покорять Францию.

После двухмесячного отдыха император двинулся на север. По дороге, 18 сентября, он разбил под Инчизой флорентийский отряд, преграждавший ему дорогу, и два дня спустя раскинул лагерь под Флоренцией. Городу грозила большая опасность, если бы Генрих был хотя бы и не таким блестящим рыцарем, каким он показал себя под Инчизой, но зато сколько-нибудь опытным полководцем. Но Генрих не сумел использовать и те небольшие стратегические преимущества, которые у него были. После сорокадневной осады он потерял надежду взять город и отступил. Его войска 1 ноября стали отходить по направлению к Поджибонси, где стали на зимние квартиры. Там он пробыл до конца марта 1313 года, готовясь к экспедиции против Роберта Анжуйского, которого провозгласил опальным так же, как и города Тосканской лиги. Из числа граждан Флоренции 517 человек, не считая 99 жителей территории, были объявлены подлежащими специальным карам как изменники. Когда список их был обнародован, флорентинцы в ответ приговорили к тяжелым наказаниям тех из изгнанников, которые принимали участие в военных действиях против города и в его осаде под знаменами императора. Это было 7 марта. На следующий день Генрих выступил в Пизу, которая была его базой, чтобы там закончить приготовления к походу.

Там в июне его настигла новая папская булла, в которой говорилось, что он будет механически признан отлученным от церкви, как только переступит границы Неаполитанского королевства. Император послал к Клименту послов, чтобы убедить его взять назад свои угрозы и спешно продолжал свои приготовления. Они у него подвигались настолько успешно, что он не стал дожидаться подмоги, которую вел ему из Германии его сын, и двинулся из Пизы на юг во главе великолепной армии в 4 000 рыцарей и несметного количества пехоты. Роберт Анжуйский уже собирался со страху покинуть свое королевство и бежать в Авиньон. Флорентинцы стали нервничать больше, чем когда-нибудь.

Но судьба вступилась за Италию. 24 августа, еще не покинув тосканской почвы, Генрих умер в Буонконvento от малярии, подхваченной во время походов, и теперь разыгравшейся с особенной силой. В лагере гибеллинов поднялось великое стенание. Смерть Генриха уносила все их надежды. Восхваление императора в прозе и стихах не смолкало еще долго после того, как кости императора — его останки по тогдашнему обычаю сварили, чтобы возможно было доставить их в Пизу по августовской жаре — в мраморном саркофаге, изваянном Тино ди Камаино, сиенским

скульптором, учеником Джовани Пизано, были похоронены в Пизанском соборе^[16]. Чино да Пистойа и Сеннуччо дель Бене, другой поэт, тоже изгнанник, родом из Флоренции, сложили по красивой канцоне, а с ними наперерыв оплакивали в стихах погибшего императора другие поэты, менее крупные.

Данте молчал. Горе его было так велико, что он не находил слов. Только значительно позднее, уже перед смертью, в одной из самых последних песен «Комедии» воспоем он любимца своей мечты. Все канцоны, все хвалы и все славословие покажутся безвкусным, нечленораздельным лепетом по сравнению с тем грандиозным образом, который родит фантазия поэта.

В раю, в центре мистической Розы, составленной из душ ангелов и праведников, там, где пребывает бог, уготован престол для императора («Рай», XXX. Ч.). И Беатриче говорит поэту:

...Ранее, чем ты за пир воссядешь тут.
Вон там, на высоте блистательного трона —
Его украсила имперская корона —
Мы душу Генриха увидим, короля,
Которого не ждет Италии земля.
Но мир внести в нее была его задача.
Похожи на детей вы в жадности слепой,
Что грудь кормилицы отталкивают плача
И гибнут с голоду...

Так представлял себе дело поэт в раю: император, а по близости он сам, его певец, в лучах, непосредственно изливающихся от бога. В жизни это было совсем не так. После того как Данте увидел императора вторично в Пизе, он долго не подавал признаков жизни. Мы даже не знаем, где он жил в 1312–1313 годах. Он не присоединился к армии императора, когда она осадила Флоренцию: не поднялась рука пойти с оружием против родного города. Это видно из того, что в списке изгнанников, присужденных к наказаниям за участие в военных действиях против Флоренции 7 марта 1313 года, его имени нет. Поэт не выходил из своего уединения. Но нам известно, чем он был занят летом 1313 года. Он писал новое сочинение, латинский трактат «О монархии», «De Monarchia».

Когда 1 августа 1313 года император Генрих объявил, что он выступает из Пизы на юг, первым объектом его похода был Рим. В это время в нем уже твердо созрело решение не обращать внимания на папское отлучение и идти на Роберта. Но Рим был назван им не случайно. После того как император покинул «вечный город» после своего коронования, Орсини помирились с Колонна, поддерживавшими, хотя и не очень усердно, Генриха: для того, чтобы не мешать друг другу хозяйничать в городе на горе всего остального населения. Народ, выведенный из терпения, поднял восстание (дек. 1312 г.).

Отряды баронов, находившихся в городе, были разбиты, сами они бежали, все укрепления попали в руки народа и власть в городе была вручена «диктатору» — в Риме любили античные названия: через тридцать пять лет у них будет «трибун», Кола ди Риенцо — Джованни Арлотти деи Стефанески. Представители народа выпустили после этого воззвания, где было сказано, что восстание поднято во имя императора и что римский народ зовет его прибыть в Рим, чтобы быть увенчанным триумфом на Капитолии и там вновь принять императорское достоинство из рук римского народа. Народное правление и «диктатура» были уже в марте ликвидированы баронами, но Генрих был убежден, что его появление изменит ситуацию. Так как он решил идти против Роберта, то знал, что отлучение неминуемо. Отлучение же лишало его императорской власти, полученной от папы. Если эта власть будет вновь дарована ему римским народом, папа бессилён будет отнять ее у него. И отлучение лишится всякого смысла. Генрих рассуждал правильно. Но ему не было суждено дойти до Рима.

Данте, верный выбранному себе призванию — быть герольдом прав и притязаний императора, решил еще раз отдать свой талант на служение этой публицистической задаче. Цель книги «О монархии» — доказательство мысли, что так как римский народ создал императорскую власть, то воля римского народа и до сих пор является ее правовым источником. Эта чисто злободневная публицистическая задача под пером Данте выросла в большую философско-политическую проблему. Нужна была огромная смелость, чтобы ответить на нее так, как ответил Данте.

В книге три части, как этого требовал добрый схоластический обычай. И тоже по-схоластически вся книга перегружена ссылками на священное писание, на Аристотеля, на Боэция, на канонистов; есть цитаты и из

классиков. Нашему времени тяжелая средневековая латынь трактата и схоластические пристройки его говорят мало, и аргументы книги для нас давно мертвы. Но для того поколения, которое переживало тревогу, вызванную экспедицией Генриха, и для следующего, трепетавшего от волнения в связи с экспедицией Людовика Баварского, — в книге билась живая жизнь. Летучая огненная публицистика писем Данте была рассчитана на непосредственный эффект. «Монархия» самой своей тяжеловесной основательностью крепила полемическое действие писем. В литературе, сопровождавшей вековой спор между империей и папством, «Монархия» наряду с «Защитником мира» Марсилия Падуанского недаром занимает одно из самых видных мест.

Вторая часть трактата — самая важная. Она озаглавлена: «По праву ли присвоил себе римский народ императорскую власть?» В ней ставится вопрос, санкционировал ли какой-либо правовой титул владение Рима мировой империей и, если такая санкция существовала, имел ли римский народ право передавать императорскую власть кому-либо и законно ли со стороны другой организации, принявшей императорскую власть из рук римского народа, считать себя преемницей Рима. Для Данте тут никаких вопросов не существует. Вергилий говорил римлянам

Римлянин, помни, народами править ты призван судьбою.

Судьба оправдала это гордое пророчество. Суд божий на бесчисленных кровавых полях дал победу Риму над всеми его противниками. Он доказал, что римляне — «святой народ» и что покорили они человечество для того, чтобы дать ему хорошие законы, хорошее управление и всяческое счастье. Следовательно, если верно, что римский народ по праву присвоил себе императорскую власть над миром, то, — Данте не договаривает, но вывод напрашивается сам собою, — он может и передавать ее кому угодно. Вывод, который только и был нужен Генриху.

Первая часть служит вступлением. В ней несколькими различными способами доказывается, что монархия необходима для благополучия мира и что существование мировой монархии такого типа, как священная римская империя благодетельна для человечества. Третья часть разбирает вопрос о том, кто является источником власти императора, бог или его наместник на земле. В «Комедии» («Чист», XVI) история этого вопроса излагается в таких стихах:

Великий Рим имел на небосклоне
Блистающих два солнца золотых,
Сияние над миром разливавших,
И два пути различных озарявших:
Путь Господа и трудный путь мирской.
Но с той поры, как первое светило
Насильственно другое поглотило,
А меч и посох тою же рукой
Захвачены, — согласия нет меж ними.

Ч.

Данте отвергает легенду о даре Константина^[17] за сто с лишком лет до Лоренно Баллы и утверждает, опять таки с помощью различных доказательств, что император получает свою власть не от папы, вопреки излюбленной церковной доктрине, а непосредственно от бога. Так же, как и папа. Источник их власти, таким образом, один и тот же. Обе власти, духовная и светская, поэтому должны находиться в согласии и представители их должны относиться друг к другу с уважением. Если бы это было возможно, это был бы наиболее совершенный порядок на земле; этого не бывает теперь, но так было во времена Юстиниана и Карла Великого.

«Монархия» написана после того, как сделалась известна папская булла, грозившая Генриху отлучением, если он вторгнется в неаполитанскую территорию, т. е. после середины июня (булла помечена 12 июня) и, конечно, до смерти императора, т. е. до 24 августа. Именно тут был момент, когда нужно было подействовать на общественное мнение и подготовить для императора возможность сослаться на передачу ему власти римским народом.

Даже на внимательный взгляд трактат написан очень целеустремленно, последовательно проводит одну логическую линию и лишен той раздвоенности, которая так бросалась в глаза при сравнительном изучении «Пира», «Языка» и одновременных канцон. Данте в «Монархии» целиком на стороне императора, т. е. на стороне

монархическо-феодалных притязаний, тщетно пытающихся помешать естественному и здоровому росту страны, отвечавшему интересам буржуазии. Когда Данте рассуждает, подпирая свою мысль ссылками на священное писание, схоластиков и классиков, читатель все время находится под неотвязным и сложным впечатлением: что у него не только все продумано и прочувствовано, но что старые пополанские настроения, которые в «Пире» прорывались беспрестанно, а «Язык» породили целиком, теперь окончательно смолкли; что Данте окончательно изменила та бессознательная и безошибочно верная оценка социально-культурной обстановки, которая так ярко сказала недавно в «Языке»; что поэт ни на минуту не вспомнил, какие живые силы сегодняшнего дня, какие здоровые насущные интересы заставляют богатые итальянские города бороться против дутых притязаний империи и прикрывать эти интересы, столь же дутой, никого не обманывавшей привязанностью к папству; что на его взгляд исторические и философские аргументы, ссылки на Леви и Иуду, на Энея и Турна, на Горациев и Куриациев способны решить спор, давно и бесповоротно взвешенный жизнью.

И все-таки это не так. Рядом с главной линией аргументов, той, которую мы проследили, бегут боковые дорожки, не пропадая ни на одно мгновение. И если на главной линии разворачивается широкая и свободная защита дела императора и империи, то на боковых явственно утверждаются такие мотивы, которые диктуются совсем иными настроениями. И Данте — воспитанник свободной коммуны, Данте — пололан, Данте — борец против папы вырисовывается во весь рост. Это — мысли о гуманности и гражданственности, о свободе, как о высшем общественном благе. Это — протест против противно-общественных чувств и пороков: как в «Пире». Это — представления о государстве, как о необходимой форме общежития, и о государстве, как о его слуге, не господине.

Данте все тот же. Все так же две души в его груди и все так же терзается эта грудь от мук и от противоречий. Но в муках и в усилиях одолеть противоречия поэт продолжал расти и гений его находил питающие соки во всем том, что разрушало его тело.

Петрарка вспоминал, что ребенком он видел Данте в Пизе. Это было как раз, когда Данте приехал туда, чтобы еще раз повидать императора. «Я был с отцом и дедом, — говорит певец Лауры. — Данте показался мне моложе деда и старше отца». А на самом деле старый Петрарко, отец Петрарки, был на целых двенадцать лет старше Данте. В 1312 году Данте было только 47 лет, а вид он имел старее, чем почти шестидесятилетний товарищ его по изгнанию.

Так истрепала его жизнь: лишения, душевные муки, неуверенность в завтрашнем дне. Когда умер Генрих и исчезли надежды, все страшное в жизни, что, казалось, больше уже не вернется, воскресло снова.

Куда пойдет поэт искать угла, где ему можно было бы преклонить усталую голову?

Глава VI

Путь к концу

1

После смерти императора стало казаться, что дела гибеллинов совсем плохи, и такому человеку, как Данте, трудно было найти себе пристанище, потому что три четверти итальянской территории принадлежало Роберту Анжуйскому или находилось под его протекторатом. Даже Пиза была в трепете и довольно долго безуспешно предлагала синьорию у себя, пока в сентябре 1313 года не принял ее Угуччоне делла Фаджола. Только в Ломбардии крепко держались два самых сильных гибеллинских княжества, Милан и Верона: Маттео Висконти и Кан Гранде делла Скала.

Данте, когда справился с горем, подавившим его надолго, прежде всего вспомнил о Кан Гранде. Он был с ним знаком, переписывался с ним, посылал ему из Тосканы чрезвычайно нужные ему сведения о действиях флорентинцев, т. е. был его политическим осведомителем. Было естественно обратиться к нему с просьбой оказать гостеприимство теперь, когда в Тоскане и в Романье оставаться было опасно. Столь же естественно было со стороны Кан Гранде принять его у себя. Переезд поэта в Верону мог совершиться еще в 1313 году.

В следующем году дела гибеллинов сразу поправились. Ломбардские синьоры одолели своих гвельфов. Угуччоне овладел Луккой, а 20 апреля умер Климент, самый опасный враг, потому что был самым преданным другом Роберта. Потянулся конклав, которому, казалось, не будет конца. В конклаве было шесть итальянских кардиналов, пятеро французских и целых двенадцать гасконцев, соотечественников Климента, которых он насажал, чтобы укрепить свое положение. Конклав топтался на месте, не будучи в состоянии сколотить требуемое большинство. И не просто топтался, а доходил до рукопашной: гасконцы однажды хотели даже перебить итальянцев, которые едва успели спастись бегством.

Данте решил вмешаться. Он чувствовал себя настолько большим человеком, что не видел в этом вмешательстве ничего необычного. У него было что сказать кардиналам и через голову кардиналов итальянскому народу. И он знал, что то, что он скажет сановникам церкви, своим

поведением унижающим ее, не решится оказать никто другой.

Главная его цель ясна: он хочет, чтобы папа вернулся в Рим, потому что пребывание Климента во Франции подчинило его чужой воле, сделало главу церкви слепым орудием чужой политики, а так как кардиналы теряют время в дрязгах и, забыв об интересах церкви, заботятся только об устройстве собственных дел, то Данте начинает с бурных упреков кардиналам:

«Я не думаю, чтобы я мог огорчить вас своими упреками. Я хочу только вызвать краску на ваших лицах, если только вы не потеряли способность краснеть... Что делать! Разве каждый из вас не сочетался браком с жадностью, которая порождает несчастье и несправедливость подобно тому, как милосердие порождает благочестие и справедливость... И не считайте меня, отцы, фениксом во всем мире. То, о чем я кричу, все либо думают про себя, либо говорят шепотом... Пусть же будет вам стыдно, что упреки вам раздаются не с неба, а с такого глубокого низу»...

Дальше речь идет о том, что кардиналы должны добиваться возвращения папы в Рим, причем задача осуществления этого плана возлагается не только на итальянских кардиналов, но и на французских. Тех и других, людей латинской крови, Данте противопоставляет гасконцам, которые «воспламенены такой бешеной жадностью и стремятся отнять славу у латинян».

Данте не указал в письме, ни где оно написано, ни когда. Возможно, что в момент написания его он не был уже в Вероне. В Тоскане, пока кардиналы в конклаве неторопливо зашали друг друга и оттягивали выборы папы, готовились крупные события. Обеспокоенный успехами Угуччоне, Роберт послал против него сильное войско под командою своих братьев Филиппа и Пьера, которые, соединившись с отрядами Флоренции и других гвельфских городов, двинулись на гибеллинов. Под Монтекатини 29 сентября 1315 года произошла одна из самых славных битв XIV века: гвельфы были разбиты на голову и понесли огромные потери. Филипп и Пьер едва спаслись бегством, сын Филиппа, Карл, был убит. Победителям досталась несметная добыча.

При первых известиях о приходе в Тоскану грозных анжуйских подкреплений Угуччоне обратился ко всем гибеллинским князьям с просьбою о помощи. Кан Гранде двинул в Тоскану большой отряд и вероятно отправил к Угуччоне послом верного человека, чтобы рассказать ему о своих планах. Веронский отряд опоздал. Он пришел через три или четыре дня после Монтекатини. Но посол поспел во время. Едва ли можно сомневаться, что этим послом был Данте Алигиери.

Данте привык к таким миссиям. Их возлагали на него и старший брат Кан Гранде Бартоломмео и Маласпина в Луниджане. Доверить гибеллинские дипломатические секреты человеку, сделавшему так много для гибеллинского дела, можно было вполне спокойно. А свое пребывание в местах, где разыгрывались эти драматические события, засвидетельствовал сам Данте.

В эпизоде XXIV песни «Чистилища», где он встречается с Бонаджунтою из Лукки, поэтом, с которым у него завязалась известная читателю беседа о разных направлениях в поэзии, есть темные стихи. Тень Бонаджунты бормотала имя какой-то Джентукки.

На вопрос поэта Бонаджунта отвечал:

...Не носит покрывала
Та женщина, которая внушит
Тебе приязнь к родной мне Лукке. И не мало
Перенесет за то она обид.

Ч.

Последние слова заставляли думать, что речь идет о любовной связи. Но мало вероятно, чтобы Данте захотел упомянуть о своей любовнице в таком месте поэмы, где речь идет об очищении душевном.

Повидимому, он назвал Джентукку, — усердные архивные изыскания установили, какую из лукканских Джентукк этого времени имел в виду Данте, — чтобы отблагодарить ее за гостеприимство и за поддержку в то короткое время, какое он прожил в Лукке. Фондори, семья, к которой принадлежала Джектукка, были гибеллины. Естественно, что Данте поселился у них, и естественно, что дамы оказывали внимание прославленному поэту.

Гораздо важнее, что эти строки устанавливают самый факт пребывания Данте в Лукке: это могло быть только в эпоху борьбы Пизы с тосканскими гвельфами при Угуччоне.

Флоренция, оказавшаяся снова в тяжелом положении, как при Генрихе VII, прибегла еще раз к тому способу, который был уже испробован в так называемой реформе Бальдо д'Агульоне: она объявила несколько раз подряд амнистии изгнанникам, охватывающие одни их категории, но не распространяющиеся на другие. В одну из этих амнистий, объявленную в сентябре 1315 года, т. е. вскоре после Монтекатини, попал и Данте. Ему, как

и многим другим, осужденным на смерть в 1302 году, казнь была заменена ссылкой (с перспективой дальнейшего скорого возвращения) при условии, что изгнанник явится во Флоренцию, представит залог, даст заключить себя в тюрьму и оттуда проследует в позорном колпаке со свечою в руках в церковь Сан Джованни для покаяния. Данте известил об этом один из друзей. Он ответил чудесным письмом, простым и гордым, в котором решительно отвергал такую милость. Поблагодарив друга за его хлопоты, Данте продолжает:

«И это тот путь, которым Данте Алигиери вызывается обратно на родину после мук почти пятнадцатилетнего изгнания? Этого заслужила его невинность, очевидная для всех? Эти плоды принесли ему непрерывные труды и усилия в занятиях? Прочь от человека, привычного к философии, такая низость, свойственная сердцу подлому... Прочь от человека, провозглашающего справедливость, такой исход, что он, испытав поношения, должен еще платить деньги тем, кто его обидел, как будто они были его благодетелями. Нет, не так возвращаются на родину... Если во Флоренцию нельзя вернуться таким образом, чтобы не пострадала слава и честь Данте, я не вернусь туда никогда. Что же! Неужели я не найду на свете уголка, где можно любоваться солнцем и звездами? Или не смогу под каким угодным небом доискиваться до сладчайших истин, если перед этим не отдамся, обесславленный и обремененный позором, Флоренции и ее народу? И — я уверен — не буду нуждаться в куске хлеба».

Последнюю возможность вернуться во Флоренцию Данте разрушил сам, разрушил сознательно. Чувство собственного достоинства и гордость одержали верх над сладкой привязанностью к родине. Стиснув зубы, поэт повернулся спиной к «милому Сан Джованни», куда ему предлагали идти, наряженным в покаянные одежды и в дурацкий колпак.

А вскоре ему снова нечего стало делать в Тоскане. 1 апреля 1316 года Пиза взбунтовалась против Угуччоне, бывшего в походе, и не пустила его в город, а Лукка вскоре после этого признала синьором Каструччо Кастракане, звезда которого впервые взошла на тосканском небе. Данте вернулся в Верону, где счастье неизменно сопровождало оружие делла Скала. Кан Гранде продолжал успешно воевать с Падуйей и Тревизо и уже бросал взгляды на Кремону, Парму и Реджо, территории которых казались ему очень удобным округлением для его владений.

В Вероне Данте со страстным увлечением работал над своей поэмой. Именно теперь, после смерти Генриха VII, мог он отдаться ей целиком. То, что он говорил в конце «Новой жизни»: что если его жизнь продлится еще несколько лет, то он надеется сказать о Беатриче такое, что ни об одной женщине никогда не было сказано, — как нежная клятва сидело в его груди. И первоначальный замысел обрастал все новыми идейными и художественными элементами по мере того, как судьба влачила его «по городам и весям почти всей Италии», по мере того, как у него накапливалась все вырвавшаяся масса «ума печальных наблюдений и сердца горестных замет».

Вымышленная дата загробного странствования — пасха 1300 года — породила у современников и ближайшего потомства множество легенд о том, когда Данте начал писать поэму. Одна из самых популярных гласила, что через пять лет после изгнания Данте, в 1307 году, в потайном уголке дома Алигиери, уцелевшем от разрушительного усердия Канте деи Габриелли, домашние нашли семь первых песен «Ада», а поэт Дино Фрескобальди, соратник Данте по «сладостному новому стилю», взялся доставить их автору, проживавшему тогда при дворе Маласпина в Луниджане. Поэтому будто бы песнь VIII начинается словами:

Я продолжаю вновь повествованье

Ч.

Боккаччо, который рассказывает об этом, прибавляет, что когда Морозелло Маласпина показал поэту присланную из Флоренции рукопись и спросил его, не знает ли он, чье это произведение, Данте сейчас же признал его за свое. Маркиз стал просить его, чтобы он продолжал свою вещь, так чудесно начатую. Данте ответил: «Я думал, что, когда все мое имущество было разгромлено, и эта рукопись погибла с остальными моими книгами. Уверенный в этом и занятый кроме того множеством других дел во время изгнания, я совсем забросил возвышенный замысел этого произведения. Но так как судьба неожиданно возвращает мне эту рукопись и она вам нравится, я попытаюсь восстановить в памяти первоначальный план и буду продолжать, как смогу».

И этот боккаччевский рассказ и другие однородные, в том числе тот, который содержится в подложном письме луниджанского камальдульского монаха фра Иларио к Угуччоне делла Фаджола и утверждает, что вся поэма

целиком была готова во времена синьории Угуччоне в Пизе, не более как легенды. Поэма была начата после смерти Генриха VII, в 1313 или 1314 году и кончена незадолго до смерти поэта в 1321. Писалась она в Вероне при дворе Кан Гранде и в Равенне при дворе Гвидо да Полента.

Данте не мог найти лучшего места, чем Верона, для того, чтобы работать над «Комедией». Кан Гранде был очень богат и обладал тем качеством, которое Данте так ценил, которое восхвалял неоднократно: щедростью. При своем пышном дворе он оказывал радушное и широкое гостеприимство талантливым людям и знатным изгнанникам, которым умел создать такие условия жизни, что они подчас забывали, что живут в гостях. Всем, кто проживал в Вероне, отводились особые комнаты, согласно рангу гостя, часто по несколько. У каждого были свои слуги, за каждым ухаживали. На дверях помещений, где жили гости, были подходящие для каждого символические девизы: для воинов — триумфальные знаки, для изгнанников — добрая надежда, для поэтов — музы, для художников — Меркурий, для проповедников — рай. Музыканты, жонглеры, буффоны развлекали всех за столом. В спальнях были альковы с вышитыми символами непостоянства судьбы; стены их были украшены фресками.

Народу собиралось при дворе всегда много. Один из постоянных гостей Кан Гранде, поэт Эммануэле да Рома, или, как называли его иногда, Маноэлло Джудео, писавший одинаково легко и итальянские стихи и еврейские песни, описывает залу пиршества во дворце делла Скала такими словами:

«Амур находился в зале дворца делла Скала и порхал, мне казалось, бескрылый по ней. И по тому, что было перед моими глазами, мне представлялось, что я нахожусь у большого моря. Бароны и маркизы из разных стран, благородные и изящные, приходили туда. Шли споры о философии, об астрологии, о богословии. Немцы, итальянцы, французы, фламандцы, англичане говорили все разом. Шум стоял такой, что, мне казалось, звучат, не переставая, трубы. Тут же играли на разных инструментах: на гитарах и лютнях, на виолах и флейтах, и высокими голосами пели певцы. И состязались певцы с музыкантами и трубадурами...»

В год самых крупных успехов Кан Гранде, в 1313 году, когда он закончил почетным миром войну с Падуей и Тревизо и был избран главнокомандующим войсками Гибеллинской лиги в Ломбардии, — синьору Вероны было всего 28 лет. Он находился в полном расцвете молодости и талантов и жадно наслаждался жизнью. В Италии, за

исключением Неаполя, не было нигде такого блестящего двора, как у него.

Разумеется, в Вероне не было той утонченности, какой будет требовать через двести лет для княжеского двора Бальдессар Кастильоне. В придворных нравах было много грубого, и сам Кан Гранде, человек большого ума и крупного политического таланта, все-таки был прежде всего воин, который с юных лет почти не снимал панциря. Учиться ему было некогда. Честолюбие толкало его все на новые подвиги и на новые походы. Он любил пышность, был одарен художественным вкусом, любил поэтов согласно доброй традиции, царившей в Ломбардии со времен трубадуров. Но рыцарей своих он любил больше, чем поэтов, ибо они составляли его силу. Поэтов он не прочь был иной раз поставить на одну доску с жонглерами и буффонами, которые умели так хорошо веселить его храбрецов: веселая новелла и смешные выходки были доступны всем, а от стихов головы, натертые тяжелыми шлемами и отуманенные вином, очень скоро падали на дубовый стол, уставленный яствами и залитый хмельной влагой.

Данте не имел причин быть недовольным Кан Гранде. В «Раю» (песнь XVII) он пропел ему горячий панегирик, каждая строка которого прославила ломбардского синьора гораздо больше, чем все его победы.

...Перед Генрихом высоким не слукавит
Еще гасконец злой, как он себя прославит
Неутомимостью, презрением к деньгам
В столь сильной степени, что и его врагам
Не будет мыслимо хранить о том молчанье.
С доверьем от него ты жди себе щедрот...

Ч.

Правда, в фольклоре XIV и следующего веков осталось несколько рассказов, из которых как-будто следует заключить, что не то Кан Гранде пробовал иногда грубовато подшутить над поэтом, не то Данте не умел понять шутки и мгновенно вскипал обидою. Но такие недоразумения, нужно думать, если и были, кончались скоро, потому что поэт и воин друг друга ценили и уважали. Недаром Данте прожил в Вероне в этот раз так долго. Поэма оставляла ему достаточно времени для разъездов по окрестностям Вероны, иногда по поручению Кан Гранде, иногда по собственным делам. В одну из поездок он попал в Мантую и там случайно

ему пришлось присутствовать при некоем ученом споре. Речь шла о том, выше или ниже вода в своей сфере, т. е. в своей естественной окружности, чем окрестная земля. Мантуанские космографы решили вопрос в положительном смысле, но Данте, углубившись в его изучение — чисто спекулятивное, потому что другого не могло быть, пришел к заключениям противоположным, и 20 января 1320 года изложил свои взгляды в Вероне в публичном докладе. Потом этот доклад был им записан в виде маленького латинского этюда под заглавием «Quaestio de aqua et tarre» — «Вопрос о земле и воде».

В нем нет никаких научных прозрений, как одно время хотели доказать некоторые исследователи, но имеются любопытные черты. Под конец трактата Данте приходит к заключению, что людям не следует пытаться разоблачать тайны природы, которые непостижимы по своему существу: «Пусть же воздержатся, пусть воздержатся люди доискиваться до вещей, которые выше их понимания. Пусть доискиваются лишь до таких вещей, которые им доступны, чтобы возвыситься до таких ступеней бессмертного и божественного, до каких смогут, а то, что не под силу их пониманию, пусть оставят».

Это чрезвычайно характерное для Данте вмешательство религиозных критериев в область чисто научную и никаким религиозным аргументам не подведомственную, вполне гармонирует с мировоззрением, которое поэт в это время выработал окончательно и изложил в виде художественных образов в «Комедии».

Поэма подходила к концу. Но закончена она была не в Вероне, а в Равенне, куда Данте сначала часто наезжал, а потом переселился совсем. Связь с Кан Гранде однако не сразу была порвана, и поэт, живя в Равенне, столь же охотно первое время посещал Верону: ибо хронологические противоречия, затемняющие историю последних лет жизни Данте (1317–1321), могут быть ликвидированы только предположением, что за исключением последних полутора лет он делил эти годы между Вероною и Равенной.

Что могло заставить его расстаться с Кан Гранде? В трактате «Земля и вода» есть кое-какие материалы для ответа на этот вопрос. Во вступительных словах там говорится: «Чтобы зависть толпы, которая привыкла сочинять небылицы на мужей достойных, не извратила вещи, хорошо указанные, я решил» и т. д. А в заключении к этому прибавлено: «Эта философская задача была изложена... мною, Данте Алигери, самым малым из философов в... Вероне, в церковке св. Елены в присутствии всех ученых людей веронских, за исключением некоторых, которые, пылая

слишком сильной любовью к собственным особам, не признают за другими права ставить вопросы и, нищие духом по малости своей, чтобы не казалось, что они признают чужие заслуги, отказываются присутствовать на чужих докладах».

Совершенно ясно, что в Вероне у поэта были завистники, что против него плелась какая-то интрига, которая, если и не представляла для него серьезной опасности, трепала ему нервы и смертельно надоедала. Были, очевидно, люди маленькие, которым не нравилось, что поэт пользуется милостью Кан Гранде. Они шипели и втихомолку нашептывали про него «небылицы» — и в конце концов если не выжили его в буквальном смысле этого слова из Вероны, то очень облегчили ему переселение в Равенну.

Так бы поступил и человек более терпеливый и незлобный. А Данте был менее всего терпеливым и менее всего незлобивым. Характер его сложился давно, и всем кругом настолько хорошо были известны его особенности, что Джованни Виллани, узнав о его смерти, внес в свою хронику большую главу, ему посвященную, где в нескольких строках набросал его силуэт как человека и члена общества. И совершенно почти в тех же выражениях обрисовал некоторые черты характера Данте Боккаччо.

Вот что говорит Виллани: «Этот Данте благодаря своим знаниям был несколько заносчив, пренебрежителен, высокомерен, как бывает с философами, мало отличался приветливостью и не умел разговаривать с непосвященными». Боккаччо подтверждает: «Был наш поэт, помимо того, что о нем сказано, человек с душой очень надменной и высокомерной». И другие черты, собранные Боккаччо в его характеристике Данте, подкрепляют такое именно представление о нем. «Если к нему не обращались, он говорил редко, а когда обращались, отвечал раздумчиво. Ему нравилось быть в одиночестве, вдали от людей, чтобы никто не мешал его размышлениям. Если ему приходила мысль, которая очень его увлекала, он, если был в обществе, о чем бы его ни спрашивали, не отвечал до тех пор, пока мысль не созреет или пока он ее не отбросит. Это случалось неоднократно, и когда он находился за столом и когда был вместе с кем-нибудь в дороге и при других обстоятельствах. В своих занятиях он бывал так усерден, что, когда он им отдавался, никакая новость не могла его отвлечь... Однажды в Сиене он зашел в лавочку аптекаря, и ему показали там маленькую книгу, очень известную, давно ему обещанную, но которой

он еще не знал. Так как ему нельзя было взять ее с собою, то он оперся грудью на прилавок, положил книгу перед собою и начал с увлечением ее читать. Поблизости от лавки, прямо перед ним происходило какое-то празднество: шел турнир, сопровождаемый громкими криками стоявшей кругом толпы, музыкой и приветственными возгласами, как это всегда бывает. Там же танцевали изящные девушки, занимались играми молодые люди, так что всякого потянуло бы посмотреть. Но никто не заметил, чтобы он сошел с места или хотя бы поднял глаза. А как начал около трех часов дня, так и читал пока не стемнело. За это время он прочел и усвоил всю книгу. А когда его спросили, как он мог удержаться, чтобы не взглянуть, что там происходило, он отвечал, что ничего не слышал».

Этот образ, конечно, результат преломления настоящей фигуры Данте в умах и воображении современников. И в нем черта фольклора. Фольклор ведь очень скоро после смерти поэта завладел им и стал пристегивать к нему анекдоты, как старые, позаимствованные из античных сборников, так и новые, в которых, быть может, была некоторая крупница фактического материала: как он разбросал инструменты у кузнеца, перевиравшего его стихи; как он назвал «слоном» какого-то докучавшего ему почитателя; как он срезал, и не раз, Кан Гранде, подшутившего над ним; как издевался то над тем, то над другим; как на шутки отвечал злыми сарказмами. Этих анекдотов ходило много по Италии, и уже поздно, в середине XV века, Поджо Браччолини занес многие из них в свои «Фацетии».

Те особенности, которые приписывают Данте Виллани, Боккаччо и фольклор, указываются, повидимому, правильно. От высокомерия он «очищался» в чистилище. Жизнерадостным, беспечным, веселым, общительным Данте не был никогда, даже в юные годы. В нем всегда была большая замкнутость и сдержанность. Единственный период в его жизни, когда он вышел, повидимому, из обычного состояния своего духа — период дружбы с Форезе Донати и беспутных походов, — ничего не изменил в том, что в его характере было основой. Тенцона с Форезе окрашена густым налетом горечи.

Замкнутый в себе, нелюдимый, высокомерный — поэт однако ни в какой мере не был мизантропом. Он любил людей, любил по-своему, своеобразно, но искренне и сильно. До него никто не умел изображать людей с такой любовью, с таким участием, с таким всепрощающим чувством. Он любит столько своих грешников: те, кого он не любит — главным образом, политические враги, или люди низкие: изменники, предатели. В его характере ведь тоже своеобразное двоение, что и в его образе мыслей: он наполовину дитя феодального мира, наполовину

буржуазного. Высокомерие его коренилось не в том, что он был философ, как думал Виллани, а в том, что он был аристократ, а любовь к людям — в том, что он был выкормок пополанской Флоренции.

Синтез того и другого осуществлялся в нем через темперамент. Кипучий, живой, страстный — он был в нем примирителем всех его внутренних противоречий, разрешителем всех его душевных конфликтов, источником радостей, орудием творчества. Мы знаем, что пока он жил в нормальных условиях, ничто человеческое не было ему чуждо. У Боккаччо есть любопытное, очень мимолетное замечание отдельное от общей характеристики поэта, и биографы Данте стыдливо не обращают на него внимания: мало ли что говорит неисправимый новеллист! А новеллист говорит то, что совсем не противоречит самым высоким представлениям о Данте-человеке. «Наряду со столькими достижениями, наряду с такими знаниями, какими обладал этот чудодейственный поэт, — была в нем чувственность: и не только в молодые годы, но и в зрелые. Этот недостаток, хотя и естественный и обычный, даже можно сказать необходимый, не только нельзя одобрять, но неловко и оправдывать. А все-таки кто среди смертных будет неумытным судьей и осудит его? Не я!»

Еще бы! Милый Боккаччо! Когда он кого осуждал за эти вещи? Он только упустил из виду, что не бывает гениальных поэтов без темперамента и не бывает людей с темпераментом, лишенных чувственности. Мы знаем, что Данте сам не скрывал этого: в XXVII песне «Чистилища» он поведал об этом современникам и потомкам потрясающей картиной очищения огнем: следом за «отцом» Гвидо Гвиницелли и провансальским поэтом Арно Даниелем, который был учителем для стольких итальянцев, — оба они очищались от греха сладострастия — он принял муку огня между Вергилием и Стацием.

Темперамент и страсть — это то, что Данте-поэта сделало поэтом гениальным. Только способность страстно откликаться на дела своего времени, только способность страстно любить и страстно ненавидеть представителей той или иной идеи, живых и мертвых, сделали Данте поэтом, понятным всем временам.

Его внутренний мир был так богат, что он боялся расплескать его содержание и уходил от людей, когда они ему докучали. Ведь на одного, кого стоило во имя той или иной идеи засадить в ад или вознести на райские небеса, он встречал сотни, про которых с полным правом можно было повторить сокрушительное «взгляни и пройди» — *guarda e passa*.

Данте был высокомерен и заносчив, конечно, только с такими. Но они составляли большинство, и Виллани с Боккаччо заносили в свои записи

мнения большинства.

Поэт, конечно, знал себе цену, был преисполнен чувством достоинства и не любил, когда на него посягали. Боккаччо отмечает, что в вопросах чести он был очень чувствителен. Это так понятно. Мы склоняемся перед ним, читая очень сокрушенные, но какие в то же время гордые строки («Рай», XXV), в которых он оплакивает уже навек недоступную родину!

Когда священная поэма, над которой
Томлюсь я много лет — в ней небо и земля
Участье приняли — послужит мне опорой,
Вражду гонителей жестоких утоля,
Которые из той овчарни, сердцу милой,
Где спал ягненком я, меня изгнали силой,
Как недруга волков, — коль скоро суждено
Тому случиться — я вернусь перерожденным
И вместе с голосом, чудесно обновленным,
Певец приобретет и новое руно.

Ч.

А современники видели, нужно думать, в таких стихах высокомерие. Вообще в подчеркивании современниками надменности и высокомерия Данте есть момент, требующий серьезной поправки. Это — момент социальный. Данте ведь не был ни бароном, ни рыцарем. Он был сначала пополаном, а потом изгоем, человеком, выброшенным из общественной группировки, поэтом-бродягой, философом на чужих хлебах. Когда бароны и рыцари обнаруживали такие качества, которые с укором отмечались у Данте, — это было нормально. А когда они объявлялись у пополана-изгоя, хотя бы и философа, — это удивляло. Феодалный быт еще не умер. Феодалные представления были в силе.

Но мы должны пропустить их через социологический фильтр.

Гвидо да Полента, синьор Равенны, был племянником Франчески да Римини, которой Данте воздвиг такой памятник в V песне «Ада». Он правил городом с 1316 года и довольно хорошо справлялся с трудным

своим постом. Маленький город, славный своими византийскими базиликами и мавзолеями, стоял в опасном месте между Венецией и Вероной, в сфере достижения Болоньи и Флоренции, и его правителю нужно было много дипломатического искусства, чтобы крепко держаться единственно возможной политической позиции — нейтралитета. Сам Гвидо был немного поэт, писал баллады, еще не тронутые влияниями «сладостного нового стиля» и в одну из них вставил строку из жалобы Франчески у Данте. Двор у него был скромный и не мог равняться даже отдаленно с двором Кан Гранде.

Но Данте поселился в Равенне тем более охотно, что тут он получил возможность объединить около себя своих детей: сыновей Якопо и Пьетро и дочь Беатриче, которая постриглась в монахини, вероятно, после смерти отца. Сыновья уже были устроены самостоятельно.

За это Данте был чрезвычайно признателен Гвидо и его супруге, а Гвидо льстило, что его двор украшен пребыванием в нем поэта, имя которого было славно во всей Италии: «Ад» и «Чистилище» были уже известны.

Ему не пришлось долго дожидаться в Равенне доказательств того, как популярно его имя. Однажды он получил латинское, написанное гекзаметрами, письмо из Болоньи, от преподавателя латинской поэзии и латинских классиков в болонском Студио, Джованни дель Вирджилио. Ученый филолог и страстный поклонник римских поэтов писал, что ему привелось прочесть «Ад» и «Чистилище», где его кумиру Вергилию отведена такая большая и славная роль. Он в восторге, но в то же время он сокрушается, почему Данте, воспевая Вергилия, не пользуется языком, на котором писал Вергилий, а пишет на жалком *volgare*.

Зачем, говорит он, бросать народу столь высокие мысли, описывая участь душ в царствах вечности? Ведь мы, высохшие в ученых трудах, не прочтем ни строки из того, что ты написал. Народ никогда не поймет, что такое бездны Тартара и небесные тайны, в которые едва надеялся проникнуть Платон. Он будет выкрикивать на улицах твои стихи, не понимая их. Не мечи поэтому бисера перед свиньями, не одевай в недостойные одежды кастальских девственниц, а воспевай героические сюжеты на любую тему: экспедицию Генриха, тосканскую войну Угуччоне, войну Кан Гранде против Падуи. Недостатка в них нет.

По целому ряду данных, письмо писано либо поздней зимой 1319, либо ранней весной 1320 года. Оно задело Данте глазным образом потому, что в нем был намек, что если поэт перейдет на латинский язык, то его может ожидать коронование поэтическим венцом, как незадолго перед тем

был коронован в Падуе поэт и историк Альбертино Муссато. И ему захотелось ответить: и чтобы показать, что он может писать латинские стихи, и чтобы объяснить свой образ действия. Он сложил эклогу, тоже по примеру Вергилия, обещаая в ней же, что их будет, как в «Буколиках», десять. И под прозрачными аллегориями сказал, что боится ученой Болоньи, которая относилась к Генриху VII не так, как он, и что вообще предпочитал бы быть увенчанным родным городом.

Джованни дель Вирджилио сейчас же ответил поэту другой эклогой, в которой высказывал ему сочувствие по поводу его страданий, успокаивал его опасения насчет Болоньи и усиленно звал его туда, обещаая всякие почести. Но во второй эклоге, которая относится к последним дням его жизни, Данте окончательно отклонил предложение ехать в Болонью, говоря, что из Равенны его не пустят, и намекая, что желанный венок ждет его в Равенне.

Мы не знаем, давал ли ему понять Гвидо да Полента, что готовит ему поэтическое чествование, или это было предположение Данте — во всяком случае он не видел от Гвидо ничего, кроме самого доброго и почтительного отношения. Никаких признаков грубости, как в Вероне, здесь не чувствовалось. Ему самому было, нужно думать, приятно предложить синьору города свои услуги для выполнения его поручений. Поэтому, когда между Равенной и Венецией возникли недоразумения, грозившие разрывом, и пришлось посылать в лагуну послов, одним из них, тем, который должен был окончательно уладить спорные вопросы, был выбран Данте.



Равеннская Pineta

Он выполнил поручение, и успешно. Но какой ценою!

Последние годы Данте усиленно работал над «Раем». Словно чувствовал, что близок его час, он торопился кончить третью и последнюю часть поэмы, просиживая над нею дни и ночи.

Под Равенною, в сторону Адриатики, от которой нанесенные рукавами По пески все дальше и дальше отодвигают древний город тянулся в те дни густой лес пиний, славная Пинета, которую воспевало столько поэтов, с которой Данте описывал свои райские кущи, в чащу которой Боккаччо завел в одной из новелл жестокосердных равеннских красавиц, чтобы напугать их адской охотой и заставить быть добрее к поклонникам. Она и сейчас еще стоит, поредевшая, с широкими просветами, которых раньше не было: их проделали грозы, пожары, кощунственные рубки, — но такая же прекрасная. И сейчас дует и свистит среди пиний горячий сирокко и качаются с тихим поскрипыванием, медленно и торжественно, словно памятуя о прошлом, верхушки деревьев и глядятся в воды каналов. И сейчас стаи птиц поют на ветках, с моря несет свежестью, которая безуспешно пытается остудить жаркое дыхание сирокко, а зато солнцу совсем не нужно так много усилий, чтобы пробивать лучами густую сень, как во времена Настаджо дельи Онести.

Сюда, в тихую Пинету, в ее глушь, под тень ее деревьев любил уходить Данте, чтобы чеканить терцины «Рая», «музыки миров». Здесь у него складывались суровые напутствия Каччагвиды, гордое вступление XXV песни, просветленный образ Беатриче, молитва св. Бернарда, мистическая Роза. Он слушал и не слышал журчание воды в каналах, жужжание пчел над головою, меланхолический шелест огромных темнозеленых шапок, шуршание игл под ногами. И сам он должен был казаться собирателям хвороста и дровосекам, единственным гостям Пикеты, каким-то чародеем. Он был в черном, в черном капюшоне, с книгою в руках, высокий, уже согбенный; глаза его горели в экстазе творчества, ноздри орлиного носа дрожали и тонкие губы тихо шептали какие-то слова. Что это могло быть кроме заклинаний! Иногда его сопровождала молчаливая девушка в белом, которую он тоже не видел, пока она не подходила к нему и не подносила к губам его руку. Тогда его взор светлел, в нем пробежала человеческая, земная, ласковая улыбка: он знал, что пора идти домой. Дома он заносил на пергаментные листки своим тонким удлинненным почерком терцины,

которые сложились у него за день.

Гвидо не нарушал этого напряженного творчества, пока поэма не была кончена. Миссия в Венецию была поручена Данте после того, как были написаны последние слова:

Любовь, что двигает и солнце и светила.

Данте поехал с радостью. Близилась осень. Жаркая пора миновала. Дорога из Равенны в Венецию продолжалась сухим путем не более трех дней. Три дня туда, три дня обратно, там недолго.

Он скоро должен был вернуться к семье. И вернулся, но с малярией, захваченной в болотистых испарениях По. Организм поэта был крепкий, но усиленная работа над поэмой, требовавшая нечеловечески нервного напряжения, его сильно ослабила. Болезнь усиливалась непрерывно, и сердце, вмещавшее столько любви и столько ненависти, не выдержало. В ночь с 13 на 14 сентября 1321 года Данте Алигиери умер.

Когда поэта не стало, домашние начали искать то, что было хранилищем его души, его «Комедию». Первые две части (кантики) были уже распространены во многих списках, но «Рай» еще не был обнародован. Поиски быстро привели к тому, что наиболее значительная часть последней кантики была разыскана, но заключительные песни куда-то исчезли. Между тем всем близким было хорошо известно, что «Рай» был доведен до конца. Сыновья были в отчаянии. Тогда Данте явился к Якопо во сне и указал ему, куда он спрятал последние песни перед отъездом в Венецию. Именно там их и нашли. Легенда трогательно украшала чудесами все, что могла. Тем не менее она ценна потому, что, во-первых, подтверждает факт посмертного опубликования «Рая», а во-вторых, сообщает, с каким тревожным вниманием относились современники к тому, будет или не будет завершена «священная» поэма.

Гвидо да Полента почтил славного друга достойным его погребением. Он был похоронен «с великими почестями в одеянии поэта и великого философа»: тело его по приказанию синьора города было украшено «поэтическим убором поверх погребального ложа». Поэтический венок, которого Данте тщетно добивался при жизни, сопутствовал ему в могилу. По просьбе Гвидо, самые почетные граждане Равенны донесли на своих плечах гроб с останками певца до места его последнего успокоения, небольшой капеллы при церкви Сан Франческо.

Когда весть о смерти Данте разнеслась по Италии, много было

сложено стихов, посвященных его памяти. Среди них — и канцона старого друга Чино да Пистойа, и сонеты многих новых друзей. Но ни один голос сожаления не поднялся во Флоренции. Для флорентинцев Данте все еще был автором писем времен экспедиции Генриха VII и не стал еще творцом «Комедии». Нужно было, чтобы прошло несколько десятков лет. Только тогда флорентинцы опомнились. В это время поэма уже читалась и публично комментировалась не только в Болонье и Пизе, но и в самой Флоренции, и не кто иной, как Джованни Боккаччо под конец жизни стал объяснять великое творение. В 1396 году флорентинцы впервые сделали попытку получить из Равенны прах поэта, чтобы похоронить его, как он мечтал, в церкви Санта Кроче. Равенна отказала. И продолжала отказывать всякий раз, как Флоренция возобновляла просьбу. Не помогли и дипломатические шаги Лоренцо Медичи. Наконец, флорентинцы дождались момента, когда, казалось, просьба не могла быть отвергнута. Вступил на папский престол Лев X Медичи, флорентинец, и другой флорентинец, равный по гению Данте, пламенный его почитатель, вдохновлявшийся образами «Комедии», Микельанджело Буонаротти обратился к папе с просьбой поддержать ходатайство Флоренции о возвращении останков Данте в его родной город, обещая соорудить достойный его мавзолей. Это было в 1520 году. Невозможно было отказать папе в такой просьбе, тем более, что за папой стоял сам Микельанджело. Равенна сдалась. Но... когда открыли саркофаг, он оказался пустым. Останки Данте исчезли. Ответ пришел после долгого расследования, когда Лев X успел умереть, когда прошел год понтификата Адриана VI и папою снова был флорентинец, Климент VII, опять Медичи.

Францисканские монахи, не желая расставаться с драгоценной реликвией, пустились на хитрость. Не трогая саркофага, они пробили стенку капеллы, в которой он прислонен со стороны монастыря, и унесли кости поэта. Долгое время никто не знал, где они находятся. Широкой публике ничего об этом объявлено не было и по-прежнему толпы паломников стекались в Равенну, чтобы поклониться гробнице поэта.

Она находится с 1482 года в мавзолее, сооруженном по заказу Бернардо Бембо, отца знаменитого поэта, бывшего венецианским претором в Равенне (Равенна в это время принадлежала Венеции) архитектором и скульптурой Пьетро Ломбарди. В стене над саркофагом сделан его же барельеф, изображающий Данте задумавшимся над книгой. В 1870 году мавзолей был перестроен и получил свой нынешний вид. Его фасад выходит в узенькую улицу, так что до последнего времени трудно было даже окинуть его взором. Недавно решено был освободить пространство

перед ним от построек, чтобы мавзолей стал обозрим.

И кости поэта находятся теперь в гробнице. Их нашли 27 мая 1865 года случайно, когда производили небольшой ремонт в соседней капелле монастыря. Когда снесли часть стены, то на месте заложённой двери оказался деревянный ящик с надписями, что в нем находятся кости Данте, скрытые в этом месте фра Антонио Санти 18 октября 1677 года. Фра Антонио был монастырским канцлером, и, вероятно, один знал место, где хранились кости поэта в период времени между похищением их из гробницы после тревоги, поднятой требованием папы Льва, и 1677 годом. 26 июня 1865 года кости — не хватает нескольких маленьких, остальные целы — положены в ящик орехового дерева и поставлены в старый саркофаг. Так в самый год шестисотлетней годовщины рождения поэта был вновь обретен его прах.

Флоренция просила у Равенны вернуть ей останки поэта в последний раз за год до того, как они были найдены. Конечно, ей было отвечено отказом.

Прах поэта навсегда останется там, где он спокойно провел своя последние годы. И прибой Адриатики, который шумит вдалеке, и сирокко, который ревет в соседней Пинете, поют над его могилой свои вечные песни.



Гробница Данте в Равенне. Барельеф Ломбарди

Глава VII

«Комедия»

1

К концу XII века итальянская литература вышла понемногу на вольную дорогу, сливая воедино отмирающие феодальные отголоски с крепнущими буржуазными началами, реципируя уцелевшие воспоминания от римских времен, принесенные из-за Альп рыцарские провансальские мотивы и новые религиозные настроения. Данте стоит у ее начала.

Подобно тому как буйные мелкие ручейки и бурливые речки, вливающиеся в озеро, вытекают из него широким, спокойным, многоводным потоком, оплодотворяющим землю на далекое пространство, так творчество Данте вобрало в себя все, что было сделано до него и вернуло стране в виде законченных образцов, надолго оплодотворивших итальянскую литературу. И прежде всего оно дало итальянской литературе ее главное орудие: язык, в прозе и стихах доведенный до высокого совершенства одним исполинским усилием, язык — мы уже знаем — единственный из европейских, за 600 лет не ставший архаичным.

«Комедия» — главный плод его гения. Конечно, — об этом говорили неоднократно, — если бы не было «Комедия», Данте все-таки был бы гениальным поэтом: «Новой жизни», «Пира» и канцон хватит, чтобы отметить новую эпоху в итальянской поэзии. Но без «Комедии» Данте был бы просто гениальным поэтом. Он не был бы Данте, т. е. мировым рубежом в литературе. «Комедия» подводит итог всему, что было пережито и передумано феодальной культурой: в ней «впервые заговорили десять немых столетий». Богослов, философ, политик — Данте весь в прошлом. Но Данте-художник — дитя новой буржуазной культуры, которая обострила в нем чувство действительности, дала зоркость и наблюдательность его глазу, вложила ему в душу беспокойный, чреватый поэтическими образами интерес к природе и к человеку, понимание и признание всех его душевных движений.

Мы видели, как развивалось и чем вызывалось это противоречие всей его жизни, раскалывавшее надвое его душу, вносившее такое мучительное смятение в его ум, наложившее на весь его облик вечную печать скорби.

Сына свободной коммуну, дитя кипевшего молодыми соками буржуазного гнезда «на полпути земного бытия» изгнание выхватило из родной среды, стало бросать от замка к замку, от двора ко двору, связало с императором, т. е. поставило в центре феодальных стремлений, цепких, но уже бессильных и осужденных историей, окунуло в купель рыцарской реакции. Но оно не могло вытравить из него то, что он впитал в себя, живя в кругу второй флорентийской стены.

«Комедия» не примиряет этого противоречия. Она его раскрывает во всей его мировой значительности, во всей его пророческой символичности. Одиноким гигантом, подобно Горе очищения в безбрежном океане, стоит Данте на грани двух эпох, давая синтез одной, освещая своими прозрениями пути для другой. Это сделала «Комедия» — детище его изгнания. В ней отразилось все, что в жизни было дорого поэту: любовь к Беатриче, научные и философские занятия, муки и думы изгнанника, восторги и надежды, вызванные Генрихом VII. Все это он прокалил на огне своей страсти, из личного превратил в общественное, из итальянского в мировое, из временного в вечное.

2

Мы знаем, что идея «Комедии» носилась у Данте еще тогда, когда он писал стихи, вошедшие в «Новую жизнь», и потом прозаический к ней комментарий. Мысль о грандиозном славословии в честь Беатриче сквозит и в центральной канцоне и в заключительных строках «Новой жизни», а последний ее сонет как будто даже намечает поэтическую форму будущего панегирика. Но Данте сам говорит, что, для того, чтобы эта задача сделалась ему по плечу, ему нужно много учиться. Конечно, без тех усиленных занятий, которым он предавался после смерти Беатриче, поэма, которая раскрывает в образах всю систему средневекового мирозерцания, не могла бы быть написана. И не могла бы быть написана, если бы к воспоминаниям о Беатриче не присоединилось пережитое в изгнании, особенно в эпоху интервенции. Поэтому кажутся такими наивными легенды, по которым — например, по письму фра Иларио — выходит, что в 1308 г. были готовы не только «Ад», но и две остальные кантики. Мы уже знаем, что поэма писалась между 1313 и 1321 г.

Данте взял формою загробное странствование, излюбленный средневековый мотив, десятки раз использованный до него. Но эти плоды эсхатологических увлечений средневековья, спасенные от полного забвения

главным образом тем, что по их следам пошел Данте, имеют с «Комедией» мало общего. Они писались в тиши монастырских келий, в аскетическом экстазе, в порывах отрицания мира и благочестивого сладостного приятия потустороннего существования, как единственно нужного и важного для христианина. Апокалиптические образы толковались и варьировались по-разному, в зависимости от того, как богата была фантазия. Но это все подлинная духовная литература: и «Чистилице св. Патрика», и «Видения» Альберика, Тундала и др. Не они были, нужно думать, для Данте руководящими, хотя между отдельными «видениями» и «Комедией» установлен местами некий параллелизм. Для Данте было гораздо важнее, что загробные странствования служили очень популярным художественным мотивом у классиков: у Лукана, у Стация, у Овидия и прежде всего у Вергилия, который сошествие Энея в подземное царство изобразил такими яркими красками и пропитал таким теплым человеческим чувством.

Данте, который горел жаждою излить в творчестве все, что накопилось в его душе, бросить миру свои моральные приговоры, раздать всем и каждому политические оценки, казавшиеся ему безошибочными, стремился в то же время показать человечеству, сколько внутренней красоты таится в католической религии. Данте ведь был человек горячо, хотя очень по-своему, верующий. И для того, и для другого он не мог найти более подходящей канвы. Схоластическая философия снабдила его аллегорическими фантазиями, и по форме поэма вышла вполне средневековой. И первое, что бросается в глаза — это символика чисел.

Три кантики по тридцать три песни, всего девяносто девять, сотая вступительная. Терцины. Слово *stelle*, «звезды», стоящее последним в каждой из трех кантик. Все это — с сокровенным смыслом, который пытались вскрыть длинные вереницы комментаторов и который питает огромную дантологическую литературу вплоть до наших дней. Каждый символ поэмы по-разному толкуется разными комментаторами, и эти толкования составляют очень неплохую историю развития литературных, философских, богословских идей и вкусов за пять слишком столетий. Каждая эпоха отразила в них свое лицо.

Данте назвал свою поэму «Комедией», потому что начало ее «Ад» — скорбное и страшное, а конец — «Рай» — светлый и радостный. Это наименование отвечало к тому же терминологическим представлениям тогдашней поэтики, которые отразились и в дантовом трактате о языке. Произведение высокого стиля называли трагедией (Данте так называл «Энеиду»), произведение низшего стиля — элегией, а среднего —

комедией. Разумеется, Данте и его современники не подразумевали под словом «комедия» ничего похожего на то, что подразумеваем под ним мы.

«На полпути земного бытия», в страстную пятницу 1300 г. — такова вымышленная дата, позволившая Данте быть пророком больше чем на десять лет — поэт заблудился в дремучем лесу. Там на него напали три зверя: пантера, лев и волчица. От них спасает его Вергилий, которого послала Беатриче. Узнав, по чьей просьбе пришел к нему великий римский собрат, столь им почитаемый, Данте бестрепетно следует за ним, и тот ведет его через ад в чистилище и на пороге рая сдает самой Беатриче. С нею вместе поэт возносится по небесным сферами все выше и выше и наконец удостоивается лицезрения божества.



Заглавный лист к Божественной Комедии (1487 г.)

Дремучий лес — это жизненные осложнения человека. Звери — его

страсти: пантера — чувственность, лев — властолюбие или гордость, волчица — жадность. Вергилий, спасающий от зверей, — разум, Беатриче — богословие. Смысл поэмы — нравственная жизнь человека: разум спасает его от страстей, а знание божественной науки дает вечное блаженство. На пути к нравственному перерождению человек проходит через сознание своей греховности (ад), очищение (чистилище) и вознесение к блаженству (рай). Таково одно из простейших толкований: есть много других. Величие поэмы, однако, отнюдь не в ее символике, и, если ограничиваться одним раскрытием дантовых символов, мы никогда не поймем, в чем заключается значение «Комедии» в истории человечества.

Очень коротко путь Данте по загробному миру и его встречи там таковы. Об руку с Вергилием поэт вступил «во тьму глубокой бездны», над воротами которой начертаны слова: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Их встречают несметные толпы людей, проживших «без хулы и хвалы», которых отринул даже «ад глубокий». Они должны вечно вертеться у его преддверия. «Взгляни и пройди» (*guarda e passa*) — презрительно бросает Вергилий, увлекая Данте дальше. В ладье Харона переправляются они через первую адскую реку Ахерон, и попадают в Лимб, где живут без муки в полублаженстве души языческих праведников, где Данте принят шестым в венок великих поэтов: Гомера, Вергилия, Горация, Овидия и Лукана. Это — первый круг ада. Во втором древний Минос судит грешников, а в воздухе в неистовом урагане несутся души тех, кто осужден за грех сладострастия. Это — V песнь «Ада» с бессмертным эпизодом о Франческе и Паоло. В третьем кругу, где лает не переставая Цербер, мучаются под непрерывным снегом и градом обжоры, и флорентинец Чакко предсказывает поэту распрю «белых» и «черных». В четвертом кругу влекут, как древний Сизиф, тяжести скупцы и расточители, среди которых много пап и кардиналов. Тут же (VII песнь) чудесный образ Фортуны. Дальше путь преграждается адским болотом Стиксом, через которое перевозит поэтов мифический вольнодумец Флегиас, сжегший по преданию храм Апполона, и где пытается напасть на лодку неукротимый Филиппо Ардженти. Здесь пятый круг, где мучаются гневные. За Стиксом возвышаются раскаленные башни адского города Диса, где казнятся еретики. Это — шестой круг. Тут (X песнь) поразительный по мощи и пластичности эпизод с Фаринатою, в который втиснут другой с Кавальканте деи Кавальканти. Седьмой круг, где мучаются насильники, распадается на три отделения: схоластическая систематика и моральный замысел начинают требовать все большей и большей детальности. В первом из этих отделений в потоках кипящей крови барахтаются

насильники против ближнего и тираны, и когда они хотят выбраться из крови, скачущие по берегу кентавры поражают их стрелами. Тут Эццелино да Романо, Аттила, Пирр эпирский и множество других. Второе отделение наполнено грешившими насилием против себя, самоубийцами, которые превращены в деревья, терзаемые гарпиями. Данте сломал сук одного дерева и оказалось, что он ранил Пьеро делла Винья, канцлера сицилийского королевства, поэта фридрихова кружка. Третье отделение — обиталище насильников против бога и природы, их тоже три вида: богохульники, ростовщики и содомиты. Они под огненным дождем должны бегать и не имеют права остановиться. Среди богохульников (XIV песнь) Капаней, один из греческих героев, среди содомитов много видных флорентинцев и старый друг поэта Брунетто Латини. Поэты идут дальше по берегу третьей адской реки Флеготонта: она низвергается в восьмой круг, куда их переносит на себе чудовище Герион, олицетворяющее обман.

Восьмой круг делится на десять рвов или «злых ям», в каждой из которых казнятся прегрешившие так или иначе обманом. Первая яма — яма обольстителей, которых рогатые черти бьют длинными бичами, нанося им страшные раны. Вторая — яма льстецов, которые плещутся в испражнениях. В третьей — дыры в земле, в которые заткнуты вниз головой виновные в симонии; ноги их, торчащие наружу, обжигаются пламенем. Здесь папа Николай III, который ждет Бонифация VIII: Данте нашел-таки место своему главному врагу. В четвертой яме — колдуны, прорицатели и волшебники, у которых головы вывернуты назад и они плачут, орошая слезами собственные спины. В пятой яме в кипящей смоле варятся лихоимцы и преступники по службе, которых черти подхватывают на вилы при первой же их попытке выбраться из смолы. В шестой яме — лицемеры, на которых надеты свинцовые мантии, позолоченные сверху. В седьмой — воры, отданные в добычу змеям. Здесь (XXIV песнь) эпизод с Ванни Фуччи, который предсказывает Данте торжество «черных». В восьмой яме — злые советники, каждый из которых заключен в огромный огненный столб. Здесь — эпизоды с Одиссеем (XXVI песнь) и с Черным херувимом (XXVII песнь). В девятой яме распространители религиозных лжеучений и виновники политических интриг, которых демон беспрестанно поражает мечом. Тут Магомет, трубадур Бертран де Борн и Моска деи Ламберти, один из виновников распри между гвельфами и гибеллинами. В десятой яме — люди, прибежавшие к подделкам, в собственном зловонии. Между восьмым и девятым кругом находятся в каменных колодцах гиганты, восставшие против Юпитера. Один из них, Антей, спускает поэтов в десятый, последний круг ада, где казнятся

изменники. Он в самом центре земли и представляет собою покрытое льдом озеро, куда вливается четвертая адская река Коцит; в нем четыре отделения. В первом (Каина) — убийцы близких родных, во втором (Антенора) — изменники родине, в третьем (Толомея) — изменники друзьям, в четвертом (Джудекка) — восставшие против бога. Здесь (XXXIII песнь) страшная повесть графа Уголино о башне голода и (XXIV песнь) изображение Люцифера, который в тройной пасти грызет трех самых больших предателей: Брута и Кассия, изменивших Цезарю, и Иуду Искарюта, предавшего Христа.

Цепляясь за обеледнелую шерсть Люцифера, поэты выходят из ада и оказываются у подножия горы чистилища, которая окружена океаном. Здесь их встречает Катон Утический, который учит их омыться росой от адской копоти и подготовиться к восхождению на гору. Ангел приводит лодку, полную очищающихся душ, и Данте узнает музыканта Казеллу. Подойдя к горе, поэты встречают короля Манфреда, которого Данте не осудил за ересь и допустил к очищению. В начале подъема очищаются ленивцы, а за ними погибшие насильственной смертью. Здесь (V песнь «Чистилища») эпизод с Буонконтте Монтефельтро и Пией деи Толомеи, а чуть дальше (VI песнь) скульптурная фигура Сорделло и осанна гибеллинизму. Поэт засыпает и во время сна перенесен ко входу в чистилище. В нем семь кругов по числу семи смертных грехов: ангел мечом ставит на челе у Данте семь латинских букв P (peccatum — грех). Они стираются по одной после прохождения каждого круга. В первом кругу чистилища — души гордецов, которые должны нести тяжести. Во втором — завистники: веки их сшиты железными нитками, и они не могут их разомкнуть. В третьем — гневные; они находятся в густом дыму. В четвертом — ленивцы, в пятом — скупцы, с лицами, устремленными в землю. Здесь к двум поэтам присоединяется третий, Стаций, с которым вместе они приходят в шестой круг, круг скупых и обжор. Здесь (XXIII песнь) эпизод с Форезе Донати, иссохшим от голода. В седьмом — сластолюбцы, которые находятся в огне, Данте самому приходится пройти через него. После этого с его чела стирается последнее P. Здесь он расстается с Вергилием, ибо это граница земного рая, недоступного для нехристиан, и видит колесницу торжествующей церкви, влекомую грифом. На ней — Беатриче. Она называет поэта по имени — единственный раз во всей поэме Данте назвал себя, — упрекает его за грехи и приглашает в них покаяться. Данте повинуется. После этого, созерцая различные символические видения, он просветляется духом и, окунувшись в реку Эвное (ясное понимание), становится готов ко вступлению в рай, куда и

ведет его Беатриче.



Сандро Боттичелли. Врата («Чистилище»)

Рай состоит из семи сфер: Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна. За ними еще три неба: неподвижных звезд, первого двигателя и эмпирей. На Меркурии Данте встречает императора Юстиниана («Рай», XI песнь), прославляющего Римскую империю. На солнце Фома Аквинский восхваляет учителей церкви и рассказывает жите св. Франциска, а францисканец Бонавентура восхваляет главу ордена, к которому принадлежит Фома, св. Доминика. На Марсе появляется перед Данте его предок Каччагвида и начинается длинная беседа, из которой Данте узнает о своей судьбе (песни XV и XVIII). На Юпитере поэт видит орла, составленного из праведных душ, которые подвергают суровому осуждению королей и властителей. На Сатурне кардинал Пьетро Дамиани громит пороки духовенства, а св. Петр раздражается гневом по поводу деяний последних пап: Бонифация, Климента, Иоанна XXII и, наконец, в Эмпирее, в центре мистической Розы, в непосредственной близости с богом Данте созерцает престол, приготовленный для героя его надежд — Генриха VII. Там св. Бернард произносит свою молитву к Мадонне и взору поэта являются богоматерь и троица.

Чтобы вдохнуть жизнь в эту необъятную схоластическую аллегория, чтобы влить трепет действительности в эту отвлеченную схему, нужен был огромный поэтический гений. «Комедия» недаром звучит для всех времен. Недаром каждая эпоха находит в ней что-нибудь родное. Современники

ценили в ней совсем не то, что потомство. Для них «Комедия» была либо по-настоящему божественною книгою — они ведь нарекли ее «божественной» вскоре после смерти поэта, — где они искали живого личного отношения к божеству, как в мистических учениях ересей и во францисканской религии любви; либо энциклопедией, вместившей в себя огромное количество знаний «моральных, естественных, астрологических, философских, богословских» (Джованни Виллани). Для потомства «Комедия» прежде всего является грандиозным синтезом феодально-католического мировоззрения и столь же грандиозным прозрением развертывающейся новой культуры. А кроме того для потомства «Комедия» — одно из величайших художественных произведений, какие знает мир, стоящее в одном ряду с поэмами Гомера, с трагедиями Эсхила, с лучшими драмами Шекспира, с «Фаустом» Гёте.

Наиболее пластичные, наиболее потрясающие части поэмы — как раз те, в которых Данте является человеком новым, не средневековым. Средневековая мудрость — аллегория, схоластика, богословские тонкости — заставляла его держаться в рамках отвлеченных представлений, в которых тесно было даже его гению. А там, где его творчество разрывало отвлеченную схему и зачерпывало в кипевшей ключом реальной жизни, где оно соприкасалось с новыми идеалами, родившимися в результате свежих социальных сдвигов, там, где оно начинало чувствовать беспредельную ширь мира, раскрывающегося к культуре, — там гений поэта творил чудеса.

Свое видение Данте строил из кусков реальной жизни. Ад — это потрясающая симфония красного и черного, пламени и тьмы, лирические пейзажи чистилища, утопающие в свете райские небеса — это все то, что он видел в другом виде и в других соединениях кругом себя. Ему нужно описать муку лихоимцев, которые брошены в кипящую смолу: немедленно припоминается ему морской арсенал в Венеции, в котором конопатят суда, и где поэту всегда имеется растопленная смола. Он изображает казнь злых советников, каждый из которых ходит, заключенный в язык пламени, — издали эта картина приводит его на память тихий вечер в Италии, когда все поле бывает усеяно светлячками. Он рисует муки гигантов, восставших на Юпитере и посаженных за это в каменные колодцы по пояс, — и в его воображении немедленно встает образ замка Монтереджоне в окрестностях Сиены, опоясанного зубчатой стеной. По указаниям поэмы, комментаторы с точностью вычислили размеры всех кругов ада и чистилища, иллюстраторы воспроизвели малейшие детали загробных пейзажей. Поэт, несомненно, видел свой потусторонний мир так же отчетливо, как мы

видим мир, окружающий нас. Читая поэму, читатель верит, что он мучился за Франческу, трепетал перед воротами Диса, железного города еретиков, холодел от ужаса, когда чуть было не попал к чертям на вилы или был заслонен Вергилием от превращающего в камень взгляда Медузы.

Это острое чувство действительности, которое снабжает палитру художника таким неисчерпаемым разнообразием красок — как различные, напр. два описания леса в I песне «Ада» и в XXVIII «Чистилища»: там мрачный и страшный, тут мягкий и полный тихой поэзии — это чувство действительности есть несомненная черта нового человека, который отрешился уже от пренебрежительного отношения к природе и ее красотам. Эта черта дополняется другой — интересом к человеку, к личности. У Данте впервые появляется такое множество фигур с резко очерченными индивидуальными особенностями. Беатриче, Брунетто, Латини, Гвидо ди Монтефельтро со своим Черным херувимом, Одиссей, граф Уголино, Сорделло, Казелла, Форезе Донати, Пиккарда, Куница, Каччагвида и множество других, — все это образы, которые не изгладятся из памяти никогда. Из населения загробного мира Данте больше всего интересуется итальянцами, и итальянцы, особенно флорентинцы, изображаются им особенно охотно. Он их знает лично или понаслышке — ведь многие еще не умерли, когда неумолимый поэт изрек им приговор. Образы других легко и свободно рождаются в его воображении. Паоло Малатеста, который безмолвно плачет, пока Франческа рассказывает свою грустную эпопею; Фарината, гордо стоящий, выпрямившись во весь рост, в своей раскаленной могиле; Брунетто, с лицом, высушенным адским жаром, и не имеющий права остановиться под угрозой страшной казни; Капаней, который презирает божество и кричит, торжествующий, не сломленный мукой: «Мертвый я остался тем же, чем был живой!» Бертран де Борн с собственной головой в высоко поднятой руке; Уголино с детьми; Сорделло на своем камне, гордый и недвижимый, «словно лев, когда он отдыхает»; Форезе, превратившийся в скелет от голода, — это такие образы, которые почти не имеют равных себе в литературе.

Интерес к действительности, к природе и человеку, это — тот элемент, который всего больше отделяет Данте от средних веков и делает его предтечей нового миропонимания. Но не он один. У Данте, несмотря на то, что он вместе с Каччагвидой оплакивает безвозвратно, ушедшую старину, — такие чувства, которые с трудом были бы поняты во времена Каччагвиды.

Прежде всего любовь. Поэт знает не только платоническую любовь «Новой жизни» и не только мистическую, которая движет солнцем и другие

светила. Он знает, что есть и иная. Он и сам испытал это и не скрывает от своих читателей. Это — та любовь, о которой говорит Франческа да Римини: «любовь, которая любимому велит» любить. И, конечно, Франческа и Паоло занимались не разговорами на мистические темы в тот день, когда, охваченные страстью, они упали в объятия друг другу, забыв о книге. Данте, посадивший их в ад во имя верховного морального принципа, относится к их участи с величайшим состраданием. Ему больно до слез, когда он слушает рассказ Франчески, он падает без чувств, когда она оканчивает его под безмолвные рыдания своего друга.

И не только любовь. Слава, «главная болезнь» Петрарки, в душе Данте уже не будит никаких аскетических мыслей. В аду он однажды утомился и присел отдохнуть на камень («Ад», XXIV).

Но вождь: «Покой приличен ли тебе?
Кто в славе сил не обновит победной,
Не вкусит плод, добытый им в борьбе!
Кто прожил жизнь свою темно и бледно, Как в небе дым или как
пена вод, —
Тот для грядущего пройдет бесследно.
Встань! Не постыдно ль, если верх возьмет
Плоть над тобой и склонится пред нею
Дух, победитель всех земных невзгод»^[18].

Г.

Правда, уступая живучим аскетическим настроениям, Данте признает, что стремление к славе и почестям мешает «истинной любви», т. е. совершенству в христианском духе, но такое стремление он не считает грехом. Честолюбивые люди с большими удобствами живут в раю, хотя и на планете низшего ранга, Меркурии.

Более того, Данте понимает и другие голоса души, которые он признает более греховными, но все же легко очищаемыми. Это зависть («Мало я запятнан зависти пороком») и особенно высокомерие. От последнего ему пришлось, мы знаем, очищаться.

И было у Данте еще свойство, которое средние века считали одним из самых тяжелых грехов: пытливый дух. В аду поэт встречает Одиссея, который казнится во рву злых советников. И Одиссей рассказывает ему историю своей гибели. Эпизод целиком составляет вымысел Данте. Гомера

он никогда не читал. Фигура «хитроумного» царя Итаки ни одной чертой не похожа на образ «Ада». Вот что рассказывает дантов Улисс. Пребывание дома было нестерпимо для него, отравленного радостями скитаний («Ад», XXVI).

Ни юность сына с отчей нежной страстью,
Ни скорбь отца, что слаб и одинок
Дни коротал, ни с Пенелопой счастье, —
Никто, никто во мне сдержать не мог
Дух странствия и страстную тревогу
В людях изведать доблесть и порок.

Г.



Сандро Боттичелли. Гора чистилища

Двинулись, проплыли Средиземное море, прошли Геркулесовы столбы, безбрежный океан раскинулся перед путешественниками, и, чтобы ободрить их на дальнейшее, герой обратился к ним со словами:

Друзья! Тьму бедствий дружные усилия
Сломили наши, — молвил я своей
Дружине старой. — Что ж мы? Сложим крылья?
Иль жалко нам остатка дряхлых дней?
Лишиться ль чести нам — за бездной влажной

Открыть иной мир, новый, без людей!
Припомните же сердцем род свой важный!
Иль в тину впасть скотского естества
Без жажды знания с доблестью отважной?^[19]

Г.

Корабль понесся дальше. Люди увидели новые страны, но через пять месяцев погибли в бурю.

Двухвековая городская культура, смелые поездки итальянских купцов, десятки раз проходивших Геркулесовы столбы, преломившиеся в поэтическом гении, создали этот бессмертный пророческий образ. Вся история открытий — в этой маленькой речи Одиссея. Так будут говорить со своими спутниками Колумб, Васко да Гама, Магеллан. А стремление к «знанию и добродетели», двуединой сократовой формуле, — разве это не лозунг всего духовного развития нового времени?

4

Но и это не все. Даже когда Данте как будто твердо обеими ногами стоит на почве феодальных представлений, у него сказываются совершенно другие чувства. В этом отношении особенно характерно для него то, что он говорит о «жадности» (*avarizia, uspidigia*).

Данте никогда не упускал случая заклеить жадность: в «Пире», в «Монархии», в письмах, в стихотворениях. В «Комедии» она фигурирует постоянно. За жадность казнятся в аду, очищаются в чистилище, выслушивают упреки в раю. Потому что жадность — универсальный порок. Короли все заражены жадностью. Гуго Капет, родоначальник французских королей, укоряет за жадность все свое потомство: они днем молятся богородице и выхваляют ее бедность, а по ночам у них слышатся иные песни («Чист.», XX):

Приходит там на ум Пигмалион,
Из жадности отцеубийцей он,
Преступником презренным был и вором.
Скупец Мидас, преданье о котором
Глумления предметом служит нам,

И спрятавший сокровища Ахам.

Ч.

И многие другие герои мифа, истории и священного писания, которые запятнали себя жадностью, «приходят на ум» капетову племени. Французы не одни: анжуйцы и арагонцы в Италии жадны одинаково. Жаден Фридрих III, король Сицилии, жаден Роберт, жаден был его отец Карл II, продавший дочь маркизу д'Эсте, жаден был Карл I. Из жадности воюют Англия и Шотландия, из жадности Габсбурги, Рудольф и Альбрехт забыли об обязательствах империи перед Италией. Жадностью заражены все итальянские коммуны: от нее страдает рыцарская доблесть городов Романья, Болонья несет позор за свою «скупую грудь», Падуя полна ростовщиками, Лукка — мошенниками, и т. д. Флоренция разбилась на партии вследствие «гордости, жадности и зависти». Дobleсть ее граждан угасла с тех пор, как город наполнился «деревенщиной», которая принесла туда идолопоклонство перед наживой («Ад», XVI).

Стремясь к обогащению
И новыми людьми наводнена,
Флоренция оплакивает ныне
Излишества свои и дух гордыни.

Ч.

«Быстрая нажива» — вот язва Флоренции, разрушившая ее добрые старые устои. Отдельные ее граждане из жадности постоянно совершали преступления. Из жадности папы прибегают к симонии. Примеры: Николай III, Бонифаций VIII, Климент V. Адриан V в чистилище сознается («Чист.», XIX).

Корыстолюбья жалкого позор
В нас умертвил любовь к добру и благу.

Ч.

А Николая III, который дрыгает ногами, упрятанный головою в яму,

поэт осыпает негодующими проклятиями, говоря:

Вы богом сделали себе серебро и золото.

Жадностью обуяны все монахи. Францисканцев и доминиканцев упрекают за это в раю Фома и Бонавентура. Одинаково жадны и камальдульцы и бенедиктинцы, которые попадают под возмущенные укоры основателя ордена («Рай», XXII):

Господу не так противны торгаши
И ими созданный наживы алчный рынок.
Как обезумевший в корыстолюбьи инок.
Который с жадностью считает барыши.

Ч.

Нет сословия или класса, который не был бы заражен жадностью. Таков приговор поэта. Он только не обобщил его. Что это значит?

Когда то или иное свойство становится универсальным, оно перестает быть преступлением и даже грехом. Его можно осуждать, исходя от тех или иных моральных принципов, но его нельзя карать, ибо каре подлежал бы весь род человеческий.



Сандро Боттичелли. Чистилище

Быть может, ни в чем не сказалось так ярко двоение во взглядах Данте, как в этом вопросе. Жадность, которую он осуждает и карает, не есть та

жадность, которая, достигая размеров исключительных, становится явлением противообщественным. «Жадность» Данте — явление общее, широко распространенное. «Жадность» — стяжательство современной ему эпохи, поры хищных дебютов торгового капитала. Через сто с небольшим лет после него Леон Баттиста Альберти будет именовать дантову «жадность» «хозяйственностью», а через двести лет Франческо Гвиччардини назовет ее совсем по-нашему, «интересом». И отношение к этому свойству человеческой природы будет диалектически раскрываться. Данте осуждает, Альберти обожествляет («святая хозяйственность»), Гвиччардини холодно и с полной, почти научной объективностью признает его основной пружиной человеческих действий.

Данте, сын предприимчивой промышленной Флоренции, бессознательно установил, нигде не сказав этого точными словами, что интерес сделался в его время явлением универсальным, ибо он руководит действиями королей, пап, коммун, горожан, рыцарей, духовенства. Но он объявил интерес явлением противообщественным, ибо он противоречил его моральным идеалам. А противоречил он его моральным идеалам потому, что они были идеалами феодального мира. Явление же, им наблюденное и констатированное — руководящая роль интереса в политике и общественной жизни — разрушало феодальный строй, ибо было основой нового строя — буржуазного. И не просто был основой его, — оно было основой и феодального, как и всякого другого, — но уже и сознавалось, как таковое. Феодальный мир до этого сознания не дошел. Поэтому он считал интерес «жадностью» т. е. явлением ненормальным, противообщественным и подлежащим безусловному осуждению. Данте сумел установить факт, потому что половина его существа была новая, но осудил его, потому что другая его половина была старая.

Частными проявлениями этого же взгляда было и то, что он осуждал купцов, ездивших по торговым делам во Францию и покидавших жен вдовами на долгие месяцы. Он не хотел понимать, что основой нового мира была торговля, а торговля в условиях начала XIV века не могла не сопровождаться продолжительными отлучками. Вполне последовательно также было с его стороны, что он засадил в ад ростовщиков. Он вполне разделял церковную точку зрения, что «лихва» греховна, и не хотел признавать той огромной роли, которую играл уже в его время кредит. Он словно забыл, что во Флоренции был специальный цех менял, т. е. банкиров, и что в экономике Флоренции кредитное дело было одной из основ хозяйства. Он упрямо не хотел допустить до своего сознания факт, который видел отлично: что торговля, кредит, промышленность приобрели

огромное значение в общественной жизни. Он считал, что все эти вещи могут интересовать только низшие классы, людей, у которых нет идеалов; припомните, что говорится об этом в IV книге «Пира». Для него рост удельного веса хозяйственной деятельности был признаком упадка и вырождения. А он был признаком могучего прогресса. Дантовы стоны по ушедшим безвозвратно временам скоро сменяются другими песнями, которыми окрепший и сознавший себя «буржуазный дух» будет прославлять предприимчивость и стремление к наживе. Ибо капитал был силою, наперекор всему, что думал и говорил об этом Данте Алигиери.

Пополан и дворянин, сидевшие в нем рядом, видели одно и то же, но когда пополан безмолвствовал, дворянин проклинал, а когда дворянин безмолвствовал, пополан давал доказательства того, как хорошо он понимает основное культурное устремление своего времени.

В другой области таким же характерным противоречием было то, что Данте, жизненное крушение которого в конечном счете было делом рук Бонифация, который прекрасно видел, какие низкие люди, какие законченные преступники сидели на престоле св. Петра, и к папству, как к институту относился с величайшим почтением. Перед тенью Адриана, хищного симониака, он преклоняет колена в чистилище и следом за этим обрушивается с проклятиями на Филиппа IV, оскорбившего в Ананьи носителя папского сана, хотя это был гнусный человек и его злейший враг Бонифаций VIII.



Сандро Боттичелли. Небо Меркурия (Рай)

Чего стоят другие представители духовенства, он знает тоже очень хорошо. Блаженная душа кардинала Дамиани в раю чрезвычайно неблагочестиво острит, что прелат, который едет верхом — две скотины под одной шкурой, а на самых высоких ступенях рая, где казалось бы не пристало ругаться никому, особенно святым высших рангов, апостол Петр раздражается против высшего духовенства такими нехорошими словами, что небо кругом покрывается багрянцем от силы его гневного глагола и краснеют лица святых.

Этого мало. Когда Данте изрекает приговоры людям на основании собственного морального сознания, он совершенно не обращает внимания на то, как относилась к человеку церковь. Он слишком хорошо помнил, что церковь могла олицетворяться таким развратником и мошенником, как Бонифаций VIII, державший в руках перуны отлучения, а пособником его мог быть такой темный скряга и негодяй, как Маттео Акваспарта. Поэтому, если перед ним был факт церковного отлучения, которого его совесть не позволяла ему принять, он просто им пренебрегал. Короля Манфреда, «эпикурейца», пораженного отлучением, Карл Анжуйский, папский бульдог, запретил хоронить под Беневентом, а когда его воины, простые люди, из сострадания накидали на тело убитого камней, чтобы его закрыть, епископ близлежащего города по приказанию папы Климента IV

велел его вырыть и бросить в Гарильяно. А у Данте Манфред в чистилще, и говорит слова, от которых исходит густой аромат ереси:

По счастью, проклятья не изгнали
Так далеко небесную любовь,
Чтобы не могла она вернуться вновь,
Пока цветет надежда...

Ч.

Он перед смертью успел и помолиться, и был перенесен в чистилище вопреки проклятиям церкви. Дантов Манфред — настоящий бунт против декреталий.

И все вообще отношение Данте к религии, внешне вполне ортодоксальное, выправленное по всем правилам схоластического богословия, — внутренне очень свободное. Мистические аллегории «Чистилища» и «Рая», фигуры Лучии, Матильды и Беатриче, непринужденная игра символами и образами в местах, забронированных церковной догматикой, не раз соблазняли католических богословов, умных и злых, вписать в Индекс^[20] всю «Комедию». Но старик Брунетто говорил: «Далеко от клювов будут травы», что по-русски, значит просто: руки коротки. Слишком твердый орех для отцов-инквизиторов был Данте Алигиери.

5

И еще одно внутреннее противоречие Данте, идущее из того же источника, нашло выражение в «Комедии»: политическое.

В VI песне «Чистилища» Данте излил свою веру в империю в таких красноречивых стихах:

Италия! Раба! Приют скорбей!
Корабль без кормщика средь бури дикой,
Разврата дом, не мать областей!
С каким радушием тот муж великий
При сладком имени родной страны
Сородичу воздал почет толикий!

А у тебя — кто ныне без войны?
Не гложут ли друг друга в каждом стане,
За каждым рвом, в черте одной стены?
Вкруг осмотри, злосчастная, все грани
Морей твоих. Потом взгляни в среду
Самой себя. Где край в тебе без брани?
Что пользы в том, что дал тебе узду
Юстиниан, наездника же не дал?
Зачем, народ, коня во власть не предал
Ты Цезарю, чтоб правил им всегда,
Коль понял ты, что Бог вам заповедал?

М.

«Муж великий» «сородич» — это Вергилий и трубадур Сорделло, земляки, мантуанцы оба, встретившиеся в чистилище и, проявлением братских чувств так растрогавшие Данте, что он тут же пропел гимн патриотизму, проклял раздоры, губящие Италию, и еще раз потребовал, чтобы она для своего спасения отдалась в руки императору. И этому императору он приготовил трон в центре мистической Розы — в Эмпирее, в высшей райской сфере.

И все-таки насколько острее его интерес к коммуна́м итальянским и к их людям, а больше всего к собственной родной коммуне, к Флоренции и к флорентийским людям! Нет необходимости повторять их имена. Но одно имя нужно назвать еще раз. Фарината дельи Уберти не сподобился места в раю, ибо был эпикурейцем. Но разве не стоит его образ, один из самых потрясающих в мировой поэзии, десяти райских тронов? Генрих VII — не самая бледная тень во всей «Комедии», но Фарината — такая скульптурная фигура, какие умел ваять один Микельанджело.

Он предстоял, прославленный когда-то,
Моим очам. Его надменный взгляд
С презрением взирал на самый ад.

Ч.

Фарината в огненной могиле. Данте видит его до пояса. Старый воин

невозмутим и важен, не шевельнется, несмотря на огонь, его сжигающий, и на беспощадные реплики Данте: только слегка поднимает бровь при самом тяжком ударе. И с каким сокрушительным и в то же время трогательно человеческим достоинством отвечает! А жалобный крик Кавальканте деи Кавальканти дает еще больше рельефа величию героя Монтаперти.

Данте призывает империю, чтобы сокрушить Флоренцию, а любит по-настоящему только Флоренцию. Он ее сын, ей он родной. Ибо Флоренция дала ему его душу. И ни один город в мире не мог создать в те времена такого человека и такого поэта, как он.

Где еще могла воспитаться такая политическая страсть и такая политическая прямота? Данте хочет, чтобы каждый знал, к чему он стремится в политике, и требует, чтобы в политике не было ни обмана, ни предательства, ни кривых путей. Людям, которые прожили без хвалы и без хулы, не горячими и не холодными любителями безопасных средних тропинок — он бросил вергилиево «взгляни и пройди», и никогда с тех пор язык человеческий не придумал ничего более уничтожающего, чем этот приговор презрения в трех коротких словах. Обманщиками он населяет весь страшный восьмой круг ада, а предателям отводит холодную геенну, царство Люцифера, свирепо равнодушного к своим и чужим мукам. Там Данте наступает на чью-то голову, торчащую изо льда: та рычит, и поэт, не зная еще, кто это, хватается за волосы. Он знает, что это предатель и этого достаточно: сострадания к нему нет. Другого он обещанием заставляет говорить и уходит, не сдержав слова. Это предатель, а с ним и вероломство — подвиг. И тут же рядом — трогательнейшая, полная такого теплого участия к судьбе человека — повесть Уголино.

Оба чувства — и политическая нетерпимость, и умение понять чужие страдания могли воспитаться только в таком городе, как Флоренция, далеко опередившем и Европу и остальную Италию.

То, что Данте до конца носил в себе живые воспоминания и неумиравшие впечатления пополанского быта Флоренции, и сделало то, что он стал по-настоящему «первым поэтом нового времени». От него ведь «стала быть» итальянская литература. Напрасно засыпали пылающий огонь его стихов пеплом гуманизма в течение целого века. Он вырывался наружу все с новой силой, пока наиболее рьяные не устали и не признали, что огонь дантовой поэзии засыпать нельзя. А наиболее чуткие, как Петрарка, говорившие о Данте подчас с каким-то сердитым — потому что сами понимали его неискренность — пренебрежением, настраивали свою цевницу на дантов лад и пели итальянские песни.

Возрождение — это культура итальянской коммуны, культура

пополанского быта в коммуне. Данте хотел внутренне оторвать себя от этой культуры и от этого быта после того, как Флоренция «исторгла его из своего лона». И не мог, хотя искренно тянулся к другой культуре. Пополанские корни не засыхали и постоянно давали ростки. Следующим поколениям было что у него взять и чему у него учиться. Данте стоит у истоков Возрождения.

6

Что представляет собою дантово мастерство? Каждому, кто внимательно читал «Комедию», в глаза бросается прежде всего одна черта. Это очень личная вещь, быть может, самая личная из всех больших произведений мировой поэзии. В ней нет ни малейшей объективности. С первого стиха поэт говорит о себе и ни на один миг не оставляет читателя без себя. Если ему кажется, что в каком-нибудь длинном эпизоде читатель мог забыть о нем, он, сейчас же ему о себе напоминает. Читатель только что успел забыть о поэте, слушая взволнованный рассказ Франчески о своей любви, — как поэт вырывает его из его оцепенения, сообщив, что он сам от потрясения упал без чувств: «как падает мертвое тело». Так всегда.

Субъективность — обдуманый прием, отнюдь не бессознательный плод творческого увлечения. Ею достигается то, что читатель от начала до конца находится во власти волшебного искусства поэта. Если «Комедия» своими эпизодами захватывает и вызывает трепет вплоть до наших дней, то это главным образом потому, что поэт непрерывно гипнотизирует своего читателя своими собственным волнением, остротой своих собственных переживаний, которые он умеет сделать такими заразительными. Нужно только однажды поверить, несмотря на шестьсотлетний промежуток, несмотря на схоластику и мистику, на богословские отвлеченности, на феодальную идеологию, что в адской тьме и в ослепительном райском свете поэмы есть нечто самое ценное и самое прекрасное: изображение живым человеком живого человека. Когда вы схватили этот основной человеческий лейтмотив, вам будут доступны все его модуляции, и вы забудете, про шестьсотлетнюю давность, про схоластику, про мистику, про извивы аллегии, про дебри богословия. Данте будет потрясать вас неудержимо, потому что вы будете заражены его собственным трепетом. Многие ли поэты владеют в наши дни этой способностью? И многие ли владели ею в такой мере от Гомера до наших дней?

Страсть Данте — это то, что делает его близким и понятным людям

всех времен. Но Данте умеет ею владеть. В этом основа его мастерства.

О его поэтической самодисциплине дает представление конец заключительной песни «Чистилища», где он воспеваает воды Эвное. Он говорит:

Читатель мой, избыток
Будь времени и места у меня,
Исполненный священного огня,
Воспел бы я божественный напиток.
Но отдал кантике второй я день.
Приведены к концу ее страницы,
И творчества я не нарушу грань.

Ч.

Последний стих буквально гласит: «Меня не пускает узда искусства». Вот эта узда искусства крепко держала Данте. Она определила состав поэмы, она дала ей тройное деление, приблизительно одинаковое количество стихов в каждой песне и в каждой кантике^[21]. Терцины, которые текут таким стройным ритмом, гранились им с величайшей тщательностью. Сдерживалась страсть и обуздывалось переливавшееся через край вдохновение.

Чего добивался Данте? Двух вещей: простоты и осязательности. Простота, которая была регулятором его мастерства, начиная со средних стихов «Новой жизни», праздновала свои величайшие победы в сонете «Tanto gentile e tanto onesta pare» и в канцоне «Tre donne intorno al cor mi son venute», ставилась поэтом как главнейшая задача в «Комедии». Это понятно. Структура поэмы была так громоздка, мир идей, в нее втиснутый — так сложен, терцина так тиранически управляла грамматикой, символика, аллегория и схоластика и без того так должны были тяжелить ее чтение, что нужно было какой угодно ценою упрощать ее понимание. Простота поэтому диктовалась как неизбежное условие. Поэтому размещение слов в стихе, по самому своему свойству чрезвычайно уплотненном, нужно было по возможности приблизить к простейшим требованиям синтаксиса, символам и аллегориям по возможности искать простейшие словесные выражения, богословские тонкости, неизбежные по плану поэмы, излагать по возможности понятнее.

Поэма писалась на итальянском языке, т. е. ей ставилось требование

быть доступной каждому грамотному итальянцу. Простота была естественным дополнением этого первоначально поставленного поэтом себе условия. По переводам невозможно подобрать иллюстрации к тому, как поэт добивался максимального упрощения стиха и языка.

Легче иллюстрировать другую особенность дантова словесного мастерства — осязательность. Она та же, что у его великого собрата по другому искусству, у Джотто, который передал ее как основной прием созданной им школе живописи. Выше говорилось о реализме Данте. Это устремление его духа, воспитанное городом. Осязательность — технический прием, при помощи которого поэт добивается эффекта реальности. Мысль его с необыкновенной легкостью принимает конкретную форму, идеи воплощаются в вещи и образы. Он никогда не позволяет своей фантазии переходить границы того, что он считает возможным в действительности. Правда, он допускал возможность таких вещей, каких мы давно не допускаем. Но где можно, он не только хочет представить читателю пластически объекты своих видений, но старается вымерить по возможности точно то, что он рисует: пусть читателю останется меньше усилий.

Уже говорилось о том, что его описания оказались до такой степени точны, что давно выведены все цифры, вычерчены все контуры и профили его загробного мира. Вот примеры детальности его поэтических обмеров. В аду казнится Нимврод, «строитель вавилонской башни», великан. Он до пояса в воде. Лицо его длиной и толщиной было как знаменитая «сосновая шишка», бронзовое украшение на соборе св. Петра в Риме (длина ее была известна: 11 футов). Остальные части его тела — пропорциональны голове. А от пояса до головы высота была такая, что три фриза, — фризы славились высоким ростом, — не могли бы достать до волос, если бы стали один на другого, а до шеи поэт насчитал 30 больших пядей. В чистилище расстояние от одной ступени горы до другой равно росту трех человек. Таких подробных, осязательных описаний сколько угодно. Все необычайное, невиданное, созданное его фантазией, Данте хочет сделать понятным и простым, сопоставляя с вещами очень известными. Это определенный, обдуманый, последовательно проводимый прием. И как прием заслуживает того, чтобы его изучали во всех его технических деталях, чрезвычайно разнообразных.

У образов Данте есть особенность, которая очень для них типична. Они в подавляющем большинстве чрезвычайно бедны красками. В «Аду» — красное и черное, в «Чистилище» — серо-голубое, в «Раю» — лучезарное. Даже пейзажи в конце «Чистилища» не вызывают ощущения

красок. Это бескрасочность тоже, повидимому, была в замысле, потому, что чувство красок, — мы знаем, — у него острое, но он им не пользуется. Не случайно ведь поэт, обладавший таким глазом, разбил свою палитру. Поэма была задумана как бег графических образов. Недаром лучшие иллюстрации «Комедии» относятся к области графики, начиная от Боттичелли. И скульптура чудесно передает фигуры Данте. Но не живопись. Отдельные эпизоды повествовательно-прагматического характера: Франческа, Уголино, Буонконте и другие переданы и на полотне. Но опять-таки не случайно, что живопись Кватроченто и Чинквеченто так мало использовала сюжеты Данте. Если же говорят о том, что изображения страшного суда от Орканьи до Синьорелли и от фра Анджелико до Микельанджело вдохновлены «Комедией», то, вероятно, тоже не случайно, что все фрески этого содержания, во Флоренции, в Орвието, в Сикстинской капелле удивительно скудны по краскам и наоборот очень тщательно разработаны по рисунку. Особенно Синьорелли и Микельанджело. Линии Данте говорили художникам больше, чем краски.

У Данте была своя продуманная техника. И шестьсот лет, протекшие с тех пор, как он под соснами Пинеты заканчивал свою поэму, показали, что его приемы способны выдержать какие угодно испытания.

Недаром поэты учатся у него столько времени.

А у кого учился сам Данте? У классиков? Мы знаем, что он их внимательно изучал. Те поэты классического мира, — римские, конечно, потому что греческих он не мог читать в подлиннике, а переводов в то время не было, — которые были ему доступны: Вергилий, прежде всего Вергилий, «поэму которого он знал наизусть», потом Овидий, Лукан, Стаций дали ему много. Они научили его чеканить слово и стих. По их вещам он старался постигнуть труд самодисциплины в поэзии. Они были для него азбукою его мастерства. У них стремился он вырвать секрет главного приема настоящего искусства: находить для изображения действительности подлинное полновесное слово. Но он никогда не подражал древним в собственном смысле этого слова. Они давали ему метод и технику, а пользовался он ими по-своему. Ибо нет ничего менее похожего на античное произведение, чем «Комедия».

Вергилий был *duca, signore, maestro*: вождь, господин, учитель. Данте смотрел, как в «Энеиде» описывается природа, изображаются люди,

происшествия. Тут и там в поэме можно найти то, что называют бессознательной цитатой. Но нигде в ней ни Вергилий, ни тем более другие классики не подавили могучей творческой индивидуальности Данте. Он весь иной, чем классики. У него другое мастерство, другая эстетика, другой художественный вкус. Сколько раз отмечались в «Комедии» умышленная грубость там, где ее можно было очень легко избежать, где ее избежал бы не только Вергилий, но и Стаций. Сколько раз в недоумении останавливались почитатели перед необычным, корявым образом, например, про Фому Аквинского, который говорит важные речи: «святой жернов начал молоть». Во всем этом сказывается эпоха, среда и культура. Данте такой нам ближе, чем если бы он стал отделять свои стихи под классиков, лощить их и приглаживать, как это будет делать в XVI веке переводчик его трактата о языке Джан Джорджо Триссино со своими стихами. Эти грубости и безвкусицы — редкое исключение. Зато сколько красот, которые выдерживали испытание на всевозможных оселках хорошего вкуса за шестьсот слишком лет.

Если бы «Комедия» была только подражанием классикам, она не была бы таким исчерпывающим отражением культуры его времени. Если бы она не отражала с такой полнотой культуру его времени, она не звучала бы для всех времен.

В Данте — тут потомство резко разошлось с Джованни Виллани — для нас больше всего ценно его искусство, а не его наука. Наука — деталь. Это то временное, что останется временным до конца. А искусство — его могучее искусство, тоже вполне временное, именно потому вечно, что так ослепительно ярко показало образ его времени.



Маска Данте

БИБЛИОГРАФИЯ

Справочные.

Colombde Batines, Bibliografia dantesca (1845), Carpellini. Della letteratura dantesca degli ultimi ventanni, 1845–1865 (1866) После этого года ежегодно — Bibliografia dantesca.

Scartazzini, Enciclopedia dantesca (1896–1899).

В общих курсах по истории итальянской литературы

Gaspary (итальянская обработка I тома Zingarelli; русский перевод), Bartolli, De Sanctis, Vit. Rossi, Hauvette.

Ancona e Vacci, Manale della letteratura italiana, т. I.

Ряд больших статей Кардуччи в сборнике его Prose.

Специальные монографии о Данте

Zingarelli, Dante (Storia letteraria d'Italia, новое изд. (1932) с обширным указателем литературы).

Его же, небольшая книжка, резюмирующая этот обширный труд. (2-е изд.) 1914.

F. X. Kraus, Dante (1897).

Scartazzini, Dante Handbuch (1892);

Federn, Dante (1900; есть русский перевод).

Тоупбее, Dante Alighieri (1900).

Vossler, Die Göttliche Komödie, 2 т. (1907–1910).

Corrado Ricci, L'ultimo refugio di Dante 1891; (Данте и Равенна; смерть поэта); Ven. Croce, La poesia di Dante (1921; лучшая книга из необозримой, часто бессодержательной литературы, появившейся к 600-летию со дня смерти Данте).

Монографии по отдельным вопросам, преимущественно освещающие

социальную и культурную обстановку, в которой жил Данте

Cibrario, Il sentimento della vita economica nella Divina Commedia (1898);

Tocco, Quel che non c'è nella Divina Commedia o Dante e l'eresia (1899);

Сборник Arte, scienza e fede ai giorni di Dante (1901);

Gino Arias, Le istituzioni giuridiche medievali nella Divina Commedia (1901).

Флоренция и Италия до Данте и при Данте

Pasquale Villari, I primi due secoli della storia Fiorentina (новое изд. 1905)

R. Davidsohn, Geschichte von Florenz (томы II и III).

Romolo Caggese, Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento d'Italia (т. 1, 1912).

Хроники, современные Данте

Dino Compagni, в новом издании Rerum italicarum Scriptores Муратори, ред. Isidoro del Lungo.

Giovanni Villani (4-томное издание 1840 и след. годов, 2 первых тома).

Ранние биографии Данте

Боккаччо и Леонардо Бруни. Обе переведены М. А. Горбовым при его переводе «Чистилища».

Издания

Мелкие вещи: Opere minori Fratticelli (3 тома, ряд изданий); «Комедия» хорошие издания Scartazzini (3 т); В. Bianchi (с римарием); из новых Moore (Лондон) и Тоунбее (Оксфорд).

Русские переводы

«Комедия.» Стихотворного нет ни одного, который мог бы считаться сколько-нибудь удовлетворительным. Лучше других

Голованова «Ад» (просмотренный Ф. И. Буслаевым, местами прямо хорош как и первые песни «Чистилища»; дальше все хуже);

Мина с хорошим комментарием и отдельными удачными местами, но в общем неточный и тяжелый;

Чюминой, сделанный очевидно с французского (выдают такие слова, как Перуза вместо Перуджа и пр.), изобилующий ошибками, но читающийся легче, чем другие. Об остальных не стоит говорить. Есть два очень добросовестно сделанных прозаических перевода «Комедии: «Ада» Д. Н. Замятина, известного деятеля судебной реформы 60-х годов не оконченный и «Чистилища — Н. М. Горбова, последний с большим комментарием.

«Новая жизнь», Федорова, Ливеровской и А. М. Эфроса (выходит в издании «Academia»).

«Трактат о языке», В. Шкловского.

Русская литература о Данте

Акад. Александр Веселовский. Данте и символическая поэзия католичества; его же — Обзор источников «Божественной Комедии»; его же, — Нерешенные, нерешительные и безразличные дантовского «Ада». (Собр» сочинений, т. IV, ч. 1).

Шепелевич, Этюды о Данте (1891).

Фриче, Данте Алигиери (Творчество, 1921; V–VI).

Луначарский, История западно-европейской литературы в ее важнейших моментах (ч. I, изд. 2-е, 1929).

Переводы общих сочинений с отделами, посвященными Данте

Гаспари, История итальянской литературы, т. I.

Жебар, Мистическая Италия.

Монье, Кватроченто.

Переводы монографий о Данте

Скартаццини, Данте.

Федерн, Данте.

Вегеле, Дант Алигиери.

Кардуччи, Данте и его произведения.

Дж. Ад. Симмондс, Данте, его время, его произведения, его гений.

Пинто, Данте, его поэма и его век.

notes

Примечания

1

В начале следующего века, когда в ней стали играть руководящую роль шелковые фабриканты, она стала называться шелковым цехом, *arte di Seta*.

2

Самый факт относится не к 1215 году, а к 1216.

Восстание народа в 1282 г. под предводительством Джованни Прочиды против французов, завоевавших было Сицилию, поддержанное Петром Арагонским. Ему и подчинилась потом Сицилия.

В ватиканской библиотеке хранится знаменитая рукопись второй половины XIII века, составленная неким богатым любителем стихов, человеком, повидимому не лишенным вкуса. В ней 999 сонетов и канцон, из которых 205 анонимных, а из 794 именных 453 принадлежат флорентинцам.

Разбитый при Тальякоццо Конрадин был взят в плен Карлом Анжуйским и по его приказанию обезглавлен вместе с ближайшими своими сторонниками.

Второй полемический сонет Чекко против Данте носит характер чисто личный.

XIII век, как Треченто — XIV, Кватроченто XV, и т. д.

Боэций, поздне-римский философ, был приближенным короля остготского Теодориха Великого, владевшего в VI веке Италией. Он навлек на себя подозрение в связях с Византией, был обвинен в государственной измене, перевезен из Равенны в Павию, и там после долгого заключения казнен (525 г.). В тюрьме записал небольшой диалог «Утешение в философии» («De consolatione philosophiae»).

Рассуждение Цицерона «Лелий или о дружбе».

Альбигойской (от города Альби в Провансе) ересью называли ереси катаров и вальденсон, дуалистические и аскетические учения, волновавшие в начале XIII века южную Францию. После того как в связи с ересями произошло убийство папского легата, Иннокентий III объявил против Прованса крестовый поход, разгромивший всю страну (1213–1229).

Графиня Матильда, наследница своего отца графа Бонифация, владела почти всей территорией Тосканы, как имперским леном. Из ее земель выкраивали свои владения тосканские коммуны.

Тогдашняя лира равнялась 5 золотым итальянским лирам, т. е. примерно двум рублям золотом.

Раньше думали, что самое изгнание произошло в приорат Данте и много декламировали громких слов насчет цивической непреклонности поэта.

Поэтому так называемый «Дом Данте» во Флоренции, взглянуть на который приходит чуть ли не ежедневно столько туристов, ничего общего не имеет с домом, где Данте родился и жил до изгнания.

15

Ответный сонет должен был заключать в себе те самые рифмы, которые были в сонете вызывающем.

В 1828 году саркофаг был перенесен в пизанское Кампосанто, прекраснейшее кладбище в мире.

Она заключается в том, что император Константин в благодарность папе Сильвестру, вылечившему его от болезни, даровал ему власть над Римом. Гуманист Валла доказал подложность дарственной грамоты.

Эпизод в «Чист.» II, где Одеризи искупает грех высокомерия и где есть слова: «Моя же слава только дым», ни в какой мере не ослабляет значения приведенных слов.

Там же. Буквально: «Вы рождены не для того, чтобы жить, как животные, а для того, чтобы стремиться к добродетели и к знанию».

Папский список книг, запрещенных для чтения католикам, содержащий в себе лучшие создания человеческой мысли.

В «Комедии» 14 233 стиха. В каждой песне около 140. «Ад» — самая короткая из трех кантик. В нем 4 720 стихов. Он короче «Чистилица» на 35 стихов и короче «Рая» на 38 стихов.